

ВЛАДИМИР САЛАМАХА



ЧТИ ВЕРУ СВОЮ...

ПОВЕСТЬ*

1

Житель деревни Гуда, Иосиф Кучинский, отец полица, проклятый людьми за злодеяния сына, в жуткий весенний паводок 1945 года бесследно исчез из селения, хотя ему, имеющему свой дом, внезапно обрушившаяся на эту землю большая вода особой угрозы не представляла. Исчез он ночью, при невыясненных обстоятельствах, что очень обеспокоило участкового Савелия Космановича, подозревавшего в неладном односельчан Иосифа, которых хорошо знал, и чьи судьбы были ему не безразличны...

С тех пор минуло семь лет, о произошедшем между односельчанами и Кучинским те умалчивали, но, время от времени вспоминая старика, считали, что виноваты в его гибели, пусть не прямо, но все же...

А двумя годами ранее его сын Стас вместе с карателями участвовал в уничтожении деревни и ее жителей. Тогда удалось спастись только горсточке сельчан: старику Ефиму Боровцу, женщинам Катерине Журовец, Надежде Саперской и ее детишкам-близнецам, девятилетним Валику и Светке. И еще — Кучинскому, так он не в счет...

Вот тогда люди и отвернулись от Иосифа, а Ефим, друживший с ним с молодых лет, вообще люто возненавидел. Не жаловали Кучинского и быв-

САЛАМАХА Владимир Петрович родился в 1949 году в деревне Бересневка Кировского района Могилевской области. Окончил факультет журналистики Белорусского государственного университета. Прозаик, критик, публицист, эссеист, лауреат Государственной премии Республики Беларусь. Живет в Минске.

* Журнальный вариант

ший партизан Михей Михасев, и бывший фронтовик Николай Безродный, возвратившиеся израненными в Гуду после освобождения района.

И вдруг выясняется: Иосиф Кучинский жив!

А было так... Катя с семилетним сынишкой Петькой и Надя с дочерью Светой приехали в город на базар, чтобы продать ягоды, да купить детям одежду. Продали. Надя со Светой ушли в магазин, находящийся на соседней улице, Катя здесь же, с рук, приобрела мальчонке костюмчик, начала упаковываться, как у базарных ворот увидела нищего... Ее сразу же словно молнией пронзило: Иосиф!..

Не раздумывая она бросилась к нему, забыв все обиды, неприятие, гнев, назвала его по имени, но тот резко остановил ее, дескать, обозналась, да сказал, чтобы не кричала, не пугала мальчонку...

Услышав о сынишке, Катя опешила, отвернулась от старика, принялась успокаивать Петьку, чего-то испугавшегося, а пока успокаивала, старика и след простыл. Успокоившись немного и сама, первое, о чем подумала: коль жив, то нет греха на гуднянцах. Приедет домой, скажет людям, какое облегчение будет всем!

— Сидел бы в своей хате, когда все окрест затопило, так и горя не знал бы, и мы лишней мороки не имели. А то думай, гадай, где и в какую западню угодил, да так, что и следа нет. Да еще считай себя виноватым: ты же был последним, кто его видел, кто с ним говорил, знал, что он в отчаяньи, а не удержал на островке, хотя мог удержать...

— А как можно удержать человека, если тот что задумал? Сколько мы его тогда ни звали, как исчез из островка, не отозвался! — перечил ему кто-то из мужчин. — Конечно, глупость тогда Иосиф сотворил: его изба спасла бы. Она хоть и старая, но крепкая. Это нам тогда с лихвой пришлось горько хлебнуть, это мы могли сгинуть. Сами-то что — а детишки, женщины?..

Оно так, дом Кучинского паводок выдержал бы, это не землянки сельчан. В землянках Ефиму, Николаю, Михею, а прежде всего Наде с ее детишками, Валиком и Светкой, да Кате на сносках, спасения не могло быть. И если бы не сарай за деревней на взгорке, собранный мужчинами летом сорок четвертого из обгоревших бревен (надо же было где-то держать двух лошадей и козу — все тогдашнее колхозное богатство), сами погибли бы и детишек не уберегли бы.

А мужчины продолжали:

— Спрашивается, кто тогда гнал Иосифа из дома? Чего ему не сиделось в тепле? Вишь, в полночь зашлепал веслами по воде: к вам хочу! А не спросил у нас, хотели мы этого? Вот истряслась беда: без следа сгинул, а мы...

Такие разговоры Катя помнила. Тяжелые они: одно дело ненавидеть человека, другое — быть причастным к его гибели. Но вопреки всему, оказывается, что не сгинул Иосиф Кучинский. Катя узнала его. Узнала по глазам и по голосу, хотя за это время он очень изменился — постарел, будто усох, сгорбленный... Борода длинная, седая... Голова непокрыта, редкие седые волосы ворошит ветерок. Лоб изрезан глубокими морщинами... Опирается левой подмышкой на самодельный костыль. А был же, помнится, не по летам прямой, высокий, с аккуратной седой остренькой бородкой.

“Да, его, Иосифа, пострадавшие глаза видела я сегодня!

И слышала его голос: глухой, хриплый, но какой-то уж очень чужой... Увидела, бросилась к нему: “Дядя Иосиф...”, а он как в грудь толкнул: “Обозналась, гражданочка... Не кричи так, мальчонку испугаешь...”

Опешила на мгновение, Петька заплакал, то ли ее крика испугался, то ли еще чего, начала успокаивать сынишку, а когда вновь повернулась к воротам, где Иосиф просил подаюнья, его уже там не было.

Эх, была бы с ней Надя, удержали бы старика...

Но Нади рядом не было. Ушла со Светланой в магазин, платьице купить той — школу кончает дочка. В город-то женщины за покупками прибыли. Черники набрали, продали, вот и денюжки есть... (Катя Петьке костюмчик прямо здесь, на базаре, с рук купила). Ну вот и не пошла с Надей, и Иосифа встретила... Встретить-то встретила, а толку...

А Надя, вернувшись с дочерью на базар, увидя растерянную и расстроенную Катю, заподозрила неладное:

— Что случилось? Деньги украли?

— Хуже... Дядю Иосифа видела.

— Хуже-то почему?

— Исчез же... Я — к нему: “Дядя Иосиф!..”, а он не признал или не захотел признать. Жив, значит, слава тебе, Господи...

— Жив.

— Надобно мужчинам сообщить. Дядь Ефим вон как корит себя за него. Дескать, я виноват...

Пока женщины выясняли, что и как, Светка присела возле Петьки на корточки, дала конфету.

Женщины начали собираться в дорогу: надо было как можно скорее выйти за город, к шоссе, проходящему недалеко от Гуды, чтобы успеть на попутку. Скоро начнет вечереть, а вечером попутных машин может и не быть.

2

С попуткой им повезло. Только вышли за городом на свое шоссе, увидели машину, въезжающую с кольцевой. Не успели проголосовать, как она остановилась. Водитель, пожилой мужчина в поношенной военной форме без погон, пристально посмотрел на женщин и детей, затем, будто что-то или кого-то поискал глазами, сказал:

— Я — в область. Если по дороге, садитесь. Мальчик с девочкой — в кабину, а вы, женщины, в кузов. — Затем немного помолчав, добавил: — Вы, часом, не видели здесь старичка? Такой седой, сгорбленный, с самодельным костылем.

— Нет, а что такое? — насторожилась Катя.

— Да знакомы мы с ним. Не скажу, что близко, но знакомы. Я дважды в неделю, в понедельник и пятницу, езжу сюда из области и назад. Обычно в одно и то же время. Он знает, когда приблизительно проезжаю возле дороги от его хутора. Если ему надо в город, ждет меня там, и я забираю его. Едем в город, договариваемся, когда ему здесь стоять, чтобы назад я его подвез. Сегодня он со мной в город не ехал, а на базаре я его видел. Зашел в магазин недалеко от базарных ворот, в очередь стал, невзначай глянул в окно, смотрю: стоит возле ворот мой старичок. Мать честная: подаяния просит! Да такого с ним не может быть! Раньше он возил сюда грибы, ягоды, рыбу, орехи, и вот... Неужто с нами какая беда приключилась?.. Он же очень щепетильный, зазря не стал бы с протянутой рукой.

— И я его на базаре видела, — вздохнула Катя. — Односельчанин наш. Много лет назад как ушел из деревни, так ничего о нем мы не слышали.

Она помолчала, потом спросила:

— А возле какого хутора вы его подбираете? По дороге от нашей деревни до города и справа, и слева по лесу, с десяток хуторов наберется. Скажите, его не Иосифом зовут?

— Нет, Антоном, — сказал шофер. — А подбираю я его у Кошарской дороги. Этой весной мы с ним познакомились. Однажды утром еду из области в райцентр. Не спешу, недавно снег сошел. Моросит, дорога скользкая. Я в кабине поживаюсь, можно представить, как холодно за кабиной. Еду, смотрю, справа у сосны стоит человек. Стоит и не двигается, даже руки не поднимает. Я остановился. Дверкой стучу, кричу: “Чего стоишь? Коль ехать надо, садись!”

Вижу, очнулся, медленно ковыляет к машине. Боже, какой-то крученный! Под мышкой — самодельный костыль. Помог я ему забраться в кабину. Едем. Я — так и так, хочу разговорить его. Я человек разговорчивый. У меня даже фамилия разговорчивая: Говорков. Кое-как растормошил старика. Спрашиваю: “Отец, что же за нужда выгнала тебя из дома в такую рань и в такую погоду? Молчит, словно не к нему обращаюсь. Чувствую, душа у него окаменевшая. Знать, неспроста, коль так. Тогда я начал ему

о себе рассказывать. Говорю, до войны баранку крутил. Войну шофером от звонка до звонка прошел. В каких только переплетах не был, а бог миловал, даже не зацепило. Вернулся с войны — дом цел на окраине облцентра, жена деташек сберегла: сына и дочь. Сын уже жених, доченька меньшая. Вновь шоферить пошел, вот баранку кручу. А у тебя, дядя, есть кто? Крыша над головой есть? А он мне: “Один я...”

— Один? — воскликнула Катя.

— Ну да... Говорит, крыша-то есть, но горе у него: хозяйка умерла. Вчера похоронил, а сегодня — в город собрался. Одному — хоть в мешок завяжись... Говорит, может, в городе пригожусь... Говорит, долго без людей был, пока она вернулась. Откуда, я не спрашивал. Наверное, из Германии. Туда на каторгу да на смерть немец столько людей вывез!

Вот так и познакомились. Больше я ему в душу не лез. Он неразговорчивый. Наверное, натура такая. Хотя чувствуется, душа вроде и окаменела, но в ней все же что-то теплится. Сегодня, когда ехал сюда, его у сосны у дороги из хутора не было. А на базаре — был. И что с ним могло случиться, коль стал с протянутой рукой?.. Значит, не видели... И по дороге из города не встретили... Ну что ж, поедем, коль нет его.

— Нет. Может, кто в городе подобрал. Нас несколько машин обогнали.

— Все может быть, — сказал Говорков. — Говорил он как-то, что от шоссе до его хутора верст десять: попробуй добраться засветло, если чуть ходишь... Как-то хотел я подвезти его на хутор, так он махнул рукой: “Там такое болото, что, если не знаешь, пешком не пройдешь, не то что на машине”.

Светка и Валик уже давно сидели в кабине, женщины забрались в кузов.

Странно как-то. Иосиф, а зовут иначе. У Иосифа хозяйки давно нет, еще до войны умерла, и вдруг — хозяйка. Да еще откуда-то вернулась. Дальше: живет где-то возле Кошары или в самой Кошаре. Слыхали о таком хуторе, затерянном среди леса. Слыхали, что там еще до коллективизации жил с семьей один человек. То ли беглый неизвестно с каких времен, то ли хозяин-единоличник. Имел тот человек неплохой клин пашни да сенокосные угодья. Держал много овец, построил большую кошару. Отсюда и — хутор Кошара. Об этом им как-то Ефим говорил, когда женщины сетовали, что в лесу возле Гуды мало черники, да и та мелкая. Сказал, что он знает место, где ее должно быть черным-черно. За Кошарой. Правда, этот хутор очень далеко отсюда. В густых лесах. Недалеко от хутора течет Дубосна, их, гуднянцев, река...

Еще говорил Ефим, коль место неприступное, так и сейчас там должно быть много ягод — куда они денутся. А что возле Гуды изводится ягодник, так неудивительно: в войну лес вона как пылал! А ягоднику, чтобы возродиться, нужны годы да годы.

Далее сказывал Ефим, что к хутору, если от шоссе, идти-ехать со стороны Гуды, дорога вправо, приметная, травой поросшая, одичавшая. А до дороги отсюда верст тридцать. Какое-то время она идет по твердому, изрядно петляя по лесу, и понять где она, а где поляны трудно. А километра через три-четыре спускается в низину, поросшую лозняком, теряется в нем. За лозняком, а он густой там, болото, с краю поросшее багульником, голубикой. Ягоды, как желуди. Словом, там ягодное царство. Но если не знаешь хода через болото, не лезь туда, засосет тряпина и — поминай как звали. А хозяин там с закрытыми глазами пройдет. Когда-то еще его отец через болото проложил к хутору потайной путь, и тайна его никому не известна. А вот как с другой стороны, от реки добраться до хутора, Ефим знает. Он и сегодня прошел бы там без особого труда: хозяин раскрыл ему тайну, не раз вместе ходили.

Говорил Ефим женщинам, что мог бы по реке на лодке завезти их туда по ягоды. Но чтобы добраться до хутора, нужно потратить день, день собирать и день назад. А потом, переночевав дома, надо ехать в город. Ягода за это время скиснет, ее не продашь. Нет, не с руки туда плыть.

Соглашались, оно так... Но интересовались, как он туда попал. Оказывается, случайно и неслучайно: хозяину как-то понадобился работник. А Ефим тогда в городе при базаре состоял грузчиком, разгружал мужикам

телеги с зерном. Молод был, здоров, забросит мешок на плечи и несет будто играючи. Люди удивлялись: силен! Однажды его и увидел хозяин хутора. Присмотрелся, подошел да говорит: “Пошли ко мне лес корчевать. Хорошо платить буду. И стол мой”. Согласился Ефим. В городе что? Своего угла нет. И работа — сегодня есть, завтра нет...

Посадил его хозяин в лодку, приплыли они по Дубосне против течения к тому месту, где за старицей, за болотом, за гривой темного леса стоял его хутор, да и говорит: “Здесь у меня свой ход к моему стойбищу, коль привез тебя, покажу. Но не хочу, чтобы кто чужой о нем знал, жизнь такова, что иного человека пуще лютого зверя берегись. А ты, вижу, парень не из злобных. Мы с тобой, может быть, даже в дружбе сойдемся. Мало ли что бывает, ты мне поможешь, я, случись что, — тебя выручу. А как же? Так издревле добрый люд промеж собой жил, поэтому и не вывелся он, сколько ни истребляли и чужаки, и свои. Так мне отец сказывал, когда я еще мальчишкой был, и мы бежали сюда, когда там, где жили, все наше порушили люди иной веры”.

И повел тайным путем к хутору. А там у него — хозяйка да маленькие дети, тогда их еще двое было, мальчик и девочка.

Хозяйство он держал большое, крепкое оно у него было. Но пашни на то время — маловато, вот и отвоевывал у леса.

От реки, через старицу, в болото тянулась узкая, поросшая травой коса. Местами она была специально порушена хозяином. Там, где порушена, в трясине припрятаны плахи, но на шаг в стороне. Человек идет по косе, а она вдруг кончается — поворачивай!.. А ты, если знаешь, жердью ткни в одну сторону, в другую — нащупаешь твердь. Вот и ступай на нее.

Тропа узкая, двоим не разминуться. Сперва, как живность на хутор переправлял, была шире. Потом хозяин за ненадобностью убрал несколько плах, сузил дорогу.

По косе, по этим плахам, лежащим в болоте, нужно подняться на взгорок, он недалеко от хутора. Подойдешь к нему — и справа межою ступай этак с полверсты. А там — не порушенный человеком бор. А где бор, там и черничник. И местами разливы вереска. Вот тебе и ягода, вот тебе и гриб. Ягода боровая — твердая, крупная, налитая соком — сахар. Известно, вызревшая на сухом — это же не болотная, кислая. И белый гриб по вереску...

Вспоминал Ефим того хозяина добрым словом: не жадный, жил с работника не тянул, сам горб гнул не меньше, чем он, и кормил до отвала. Да и хозяйка его была тоже двужильная. И был он ненамного старше Ефима.

А что потом?.. Жаль человека, жаль... Почему жаль, Ефим не говорил, думая о чем-то своем. А коль не говорил, не спрашивали: значит, есть причина.

Сейчас Катя ухватила за эти Ефимовы рассказы о некоей неизвестной ей Кошаре. Еще бы! Конечно, Иосиф мог знать о хуторе, они же когда-то дружили, держались друг друга. Пусть не так, как братья, но все же... А что, если...

Как же того хозяина звали?.. Катя, как ни старалась вспомнить, не смогла. Кажется, Ефим не называл его имени. Только — хозяин, хозяин... Ну и то, что крестился он не тремя пальцами, как мы, а двумя.

Как же она не запомнила, как перекрестился нищий, которого встретила на базаре? Кажется, после того, как сказал, чтобы не пугала ребенка, перекрестил и ее, и Петьку... Но как?

Водитель говорит, что старик назвался Антоном. Но он же — Иосиф! “А что если это один и тот же человек? — мелькнула у нее догадка. — И почему?.. Надо Ефиму сказать. Во всяком случае Иосиф жив”.

3

Город быстро удалялся. Вечерело. Над землей еле заметно сгущалась желто-сизая пелена. Женщины сидели на лавке спинами к кабине, еще долго хорошо видели город. Но прежде всего — реку. Их реку, Дубосну. К городу она выходила из леса, пробежав от Гуды среди лугов, болот, лесов многие версты. Довольно извилистая, здесь, среди длинных луговин, она казалась трепещущей широкой серо-синей лентой, очерчивающей правый песчаный берег

на окраине города, и, уходя от него, сужалась, прячась под высоким деревянным мостом. Выбежав из-под него, уходила влево от райцентра, скрывалась в таком же густом, как и справа, где подходила к городу, лесу...

Сейчас женщины ездили в город не так часто, как сразу после войны. Тогда выбирались сюда почти каждую неделю: нужно было как-то жить. На базаре меняли на еду, а то и на одежду, самотканые ручники, скатерти, покрывала — все, что в начале войны закапали в огородах, пряча от немцев.

После войны первое время, впрочем, как и в войну, сельчане недоедали. Колхозные земли пустовали, их не было чем и как засеять. И свои огороды пустовали. И живности здесь, кроме одной козы, не было. Деревня сожжена, большинство жителей уничтожено... И это горе навалилось на горсточку сельчан: сперва на Ефима, Надежду с дочерью и сыном да тогда еще одну, без Петьки, Катерину (в тот день, как уничтожили Гуду, Ефим на рассвете повел их в лес собирать малину, поэтому и остались живы), а после освобождения и на отвоевавшихся Михея с Николаем...

Выкопали землянки там, где раньше стояли их дома или дома родителей, решили, что здесь должны жить, что со своей земли идти им некуда.

А чтобы жить, нужно строиться. И когда вернулись с войны — Михей из партизан, Николай с фронта, оба раненые — первый в грудь, второй без ноги, окрепнув, первой начали рубить избу Кате. Ведь ей, как никому из гуднянцев, горе — полицай Стас Кучинский убил ее мужа Петра... Петро прибыл на побывку, часть проходила рядом. Побыв пару дней дома, направился в лес, чтобы повалить ведря — люди голодали, напоролся на Стаса с дружкой-полицаем, прятавшихся в чаще, да там и остался... А через некоторое время в соседнем районе наши повязали предателей, они и признались в злодеянии... И вот уже почти семь лет, как Катя без мужа, с сынишкой, который так и не увидел отца...

В первый послевоенный год в город ездили, если случалась попутка, втроем: Ефим, Надя и Катя. Одних женщин мужчины не отпускали: всякое может случиться, это же город, базар — чужое. Там немало разных людей. Ко всему, случилось, из леса, через который проходило шоссе, стреляли в машины. Кто стрелял? Неизвестно. То ли недобитые полицаи, то ли немцы, попавшие в окружение и не сдавшиеся, или еще кто.

Ближе к осени в лесах стало тихо: выловили нечисть, а может, и перебили тех, кто не сдался. На базаре, вроде, стало спокойнее. Но Ефим еще долго ездил с женщинами. Они знали, почему ездит и теперь: вдруг возвратятся домой сыновья...

Приедут в город, оставит женщин на базаре да спешит на вокзал. Идет туда взволнованный, а возвращается потемневший, угасший.

Вскоре Надя, как старшая, запретила Кате ездить в город: “Дитя береги... Одна”.

“Одна” можно было и не говорить. Это пока одна. А “дитя береги” — так понятно: близится время, когда беременной женщине нужно своих людей держать.

Ефим слышал, что сказала Надя Кате, увидел, как та смутилась, по-своему утешил:

— Ты мне внучка или внучку роди, натешусь и помру.

— Я тебе, дядя Ефим, помру! — вступая в разговор, возмутилась Надежда. — Ты еще должен Катину дитя покачать на коленях, зыбку смастерить, кое-чему научить да в жизнь направить. И своих родных внучат должен дожидаться, выпестовать их да тоже к жизни наставить. А потом — как бог даст... А то сразу — помру!.. — Надежда напускала на себя строгость и нарочито возмущалась. — А мои, дядя Ефим, тебе что, уже и не внуки, а?

— Внуки, а как же, — словно удивлялся ее вопросу старик. — Но твои уже, считай, выросли. Также страшно за них: как жизнь сложится у Валентина и Светланы? Не затеряться бы им меж людей: хорошие, открытые, таким всегда трудно. С малолетства столько всего видели, пережили самое страшное, что только может быть в человеческой жизни, а нет у них злобы. Я это вижу, при мне росли. Смотрю и думаю: у них нет злобы, а у меня, старого, есть.

— Об Иосифе вспомнил? — спросила Надя.

— О нем, дорогая моя Надежда, и говорю тебе это открыто, как сказал бы дочери. Не было у меня дочерей, но жизнь повернулась так, что дочери появились, вы с Катей. Наверное, такое за страдания дается: отца-матери не знал, даже не знаю, каких я кровей...

— Не надо так, — перебивала его Надя, — каких, каких — человеческих, у всех людей кровь и есть кровь.

— Да, да, верно, это так говорится, мол, каких кровей: кто, откуда. Так вот, все вы — мои.

— Вот это верно, — говорила Надя. — А то...

— Мне бы только Никодимушку с Ванюшей дожидаться, дожидаться того часа, когда все вместе в одном доме за стол сядем, чтобы насмотреться друг на друга, наговориться, успокоить сердце — уж очень оно трепещет с тех времен, когда ребят своих на войну выправлял. Потом, конечно, женить их, внучат от них дожидаться, тогда — уволь, и помирать дедушке не грех, и ты, Надежда, мне это дело не запретишь!

— Вот это другой разговор, — сказала Надежда. — А то: “Помру, помру...” Сразу-то зачем? Так что смотри, отец, не вздумай прежде времени лезть куда не следует, у тебя еще на этом свете дел невпроворот, и всем нам ты ох как нужен!..

— Ладно, нельзя так нельзя, — соглашался старик, словно от него зависело, когда умирать. — Конечно, надо сыновей ждать, вас смотреть да внучат баловать. Нельзя так, чтобы не ждать невернувшихся. Они, те, кого не ждут, чувствуют это. Худо тогда их душам, живых или из жизни ушедших. Пусть это мои ребята или чьи сыновья, дочери, отцы, мужья — нельзя, чтобы их не ждали. Много еще на земле невернувшихся, всех ждать надобно.

— Мудреные твои слова, отец, — говорила Надежда.

— Может, и мудреные, — соглашался старик, — только и на них, как на многих иных словах, в жизни многое крепко замешено... Не ждешь человека — себя теряешь, и ему нет света...

— Ну, отец, — встрял в разговор подошедший к ним Николай, — ты прямо как в одном стихе, что на фронте промеж нас летал:

*Жди меня, и я вернусь,
Только очень жди...*

— Праведные слова, вот и летали меж вас, — говорил Ефим. — Слышал я их, помню, ты сам как-то сказывал. Может, слова эти тоже осели в моей памяти, коль так говорю. Только есть в них одно, что ставит меня в несогласие.

— Это что же? — ломал брови Николай.

— Что, дескать, жди, когда уже не ждут даже сын и мать. Мать, она не может не ждать, сын — не знаю. И то разве что несмышлениш. Если уж отец не может не ждать, так каково матери, а, Николаюшка?

— Ну ты, дядя Ефим, уж так буквально понимаешь, — говорил Николай. — Все ждут. Что это мы вдруг...

— Ждем, а как же!.. — тяжело вздыхал старик и надолго замолкал. Его лицо, обветренное, изрезанное глубокими морщинами, покрытое сединой, казалось, чуть-чуть светлело, в глазах появлялся еле заметный слабый блеск. Затем угасали, влажнели...

— Надобно нам немедля деревню отстраивать! Ребята придут, и мои, и все остальные, посмотрят, что ничего не сделано, не поймут нас... Эх, нам бы еще один топор да ловкие руки, как у Иосифа, мы бы ох как разогнались!..

— Так в чем дело? Зовите его, — осторожно советовала Надежда.

— Нет, нет, нет! — махал руками старик. — Ты что? Это я так, к примеру. Умом, может, и мог бы позвать, а сердцем... Придут мои сыновья, твой Игнатий, что скажут, узнав что его сын творил? Что к врагу на поклон пошли?

Надежда пожимала плечами: только бы ее Игнатий вернулся, а что скажет, так пусть то и скажет... Но и от него пока, как и от Ефимовых сыновей — никаких вестей.

Игнатий вернулся в конце сорок шестого. Контуженный, израненный, но с руками-ногами. Выходила его Надежда, детишки от отца — ни шагу. Живут, лад в семье. В лесниках ходит Игнатий, куда ему в колхоз, там везде тяжело...

Сыновья... Это Ефимова неутраченная боль: сколько времени прошло — сами не отзываются и никакой казенной бумаги о них нет... Уж сколько лет о них ничего не известно...

Об остальных гуднянцах, кто не вернулся с войны, — сколько же их полегло! — давно уже ясность есть: где, когда, при каких обстоятельствах. И в каких землях лежат — в своих ли, чужих...

Было, вели с Ефимом в сельсовете разговор, дескать, наверное, надо о пенсии за них хлопотать. При этом почему-то участковый Савелий Косманович присутствовал. Тяжело ходил рядом, молчал. Отказался Ефим: зачем?.. Живы они, живы. Видел, как Савелий после его слов молча кивнул головой, наверное поддержал старика: зачем?..

4

К дороге, ведущей от шоссе в Гуду, успели приехать еще до сумерек. Ефим, как всегда, ждал их. Стоял на обочине, а у огромного старого дуба, росшего у дороги, лениво переступала с ноги на ногу запряженная в телегу лошадь.

Когда и дети и женщины подошли к нему, сказал:

— Уже битый час жду. Ни одной попутки. Думал, в городе заночуете. Каково с детьми... Но где? Знакомых там нет.

— Ничего, добрались, — сказала Надя, — Добрый человек подвез, спасибо ему.

Ефим посмотрел на шофера, вылезшего из кабины и провожающего взглядом своих пассажиров, кивнул ему, будто старому знакомому, тот кивнул в ответ, обошел грузовик спереди, открыл дверку, помог Свете и Петьке спуститься на землю и, уже обращаясь к женщинам, сказал:

— Бывайте! Но помните, в понедельник и пятницу я у вашей дороги где-то в семь утра. Соберетесь в город — пожалуйста.

Они не успели поблагодарить, как он стукнул дверкой, машина тронулась с места.

— Познакомились? — спросил Ефим, подойдя к телеге, подсаживая на нее Петьку, добавил: — Сразу видно, хороший человек.

— Еще бы! — согласилась Надежда. — И хороший, и говорит, что какого-то старика часто подвозит в город, забирает его возле кошарской дороги. А потом из города везет назад. А старик тот, чтобы ты знал, дядя Ефим, кажись, Иосиф Кучинский.

— Что ты говоришь?! — воскликнул Ефим. — Откуда вы знаете?

— Катя его видела.

— Где? Говорила с ним? Значит, жив, жив... Говори, Катерина!

— А что говорить? — вздохнула Катерина. — Видеть-то видела. На базаре подающая просил. Я к нему: "Дядя, Иосиф!.. А он: "Ошиблись..."

— Так, может, ошиблась? — насторожился Ефим.

— Да нет... Есть непонятность: если верить шоферу, то зовут его Антоном. Это раз. Дальше, живет в Кошаре, ты как-то о ней нам рассказывал. А еще — у него была жена, весной похоронил. Шофер говорил, что Антон без нее долго жил, пока не вернулась года два тому то ли из Германии, то ли еще откуда. Так что, дядя Ефим, что-то здесь странное. Но говорю тебе, не ошиблась я, хоть сомнения вначале были.

— А что здесь странного? — сказал Ефим. — Никак вы говорите о разных людях, Антон — хозяин Кошары. Да они оба мне нужны, коли так!.. Даже не знаю, кто больше. Кажется, я вам про хозяина Кошары как-то рассказывал. В молодости я у него работал. Стоящий человек. Крепкий был

хозяин. Но раскулачили, сослали вместе с семьей. Детишек у него было много. Двое первенцев старше, чем мои ребята, а за ними — целый выводок, мал мала меньше... Знать, выжил, вернулся. Да, была у Антона хозяйка. Но здесь что-то не вяжется. Получается, долго жил без нее? Хотя всякое может быть: сослали, жили в ссылке, затем их оправдали, он поехал посмотреть, стоит ли домой возвращаться, а она там от него вестей ждала. Может, вы о разных людях говорите?

— Да нет.

Не спеша разместились на телеге. Женщины и Света сели сзади. Ефим пристроился впереди, посадил на колени Петьку, сказал:

— Нокаль, внучок, будешь.

— А хворостинка? — спросил тот.

— Хворостинки не надо. Тихо поедем. Вечереет. В колее корни переплелись, узлов не счесть. Не надо, чтобы Буланчик ноги поранил.

— Но, но! — крикнул Петька.

Конь легко тронулся, колеса громко застучали по сухим корням. Молчали. Все думали об одном, об Иосифе. Жив... А это круто меняет их жизнь.

— Догадка одна у меня возникла насчет Иосифа, — вдруг сказал Ефим. — Я когда-то ему о Кошаре рассказывал. Намного раньше, чем вам. В коллективизацию, тогда мы с ним еще по одним дорожкам ходили... Хотя, кажется, я не говорил ему, как звали хозяина хутора. Тогда Иосифу было не важно, как зовут человека, которому нужно помочь. И мне тоже. Тревожило и меня, и его, что многодетную семью сняли с места, лишили крова да за ее труды вона куда погнали — на край света. Мы уже знали, куда гонят раскулаченных — в гиблые края... А может, и говорил, ведь Антон близок мне был. И детишек его я знал. И хозяйку. Здесь кое-что обдумать надо, да решать, как быть и с Иосифом и с Антоном. Вишь, подаяния просит. Кто? Иосиф? Антон? Кто бы ни был — неспроста просит. — И вдруг, обращаясь к Петьке, добавил: — Нокай, внучок, нокай!..

5

Обдумать, конечно же, было что...

Иосиф Кучинский исчез из деревни в тот день, когда взорвалась дамба, отделявшая деревню от реки, вернее, в ту ночь. Дамба, а это насыпь из цемента, песка и щебня несколько лет надежно сдерживала весенние паводки, отбрасывала от Гуды большую воду, приходившую сюда из далеких и ближних возвышенностей, рек и речушек, выше деревни впадающих в Дубосну. Почему взорвалась дамба, никто не знал: то ли была заминирована в войну и позже ее никто как следует не проверил, то ли ее заминировали недобитые немцы и полицаи, прячущиеся в лесах.

Дамбу перед войной на правом берегу реки, возле деревни, возвели военные. Возводили ее в том месте, где высокий берег круто спускался к реке, образовав впадину, а потом, пробежав почти у самой воды метров двести, вновь высоко поднимался над Дубосной. Вот и закрыли вечно зияющую перед глазами впадину, соединив береговые возвышенности, поросшие по обе стороны старыми деревьями.

Дамба была довольно высокая, ее плоский широкий верх за несколько лет успел прочно покрыться травой...

Военные, возводя дамбу, деревья не тронули: крепко стоят. За свой век деревья прочно переплели корнями почву, укрепили ее множеством побегов — в этих местах берег не могли разрушить ни острые весенние льдины, ни разъяренные талые воды, сбегаящие по его склонам в реку, никакие паводки. И если бы не эта, когда-то созданная природой впадина, дамба была бы не нужна. И вот она исчезла. А было так...

С утра Ефим, Михай и Николай запрягли в телегу пару лошадей и съездили в лес за жердями. Мужчины рассчитывали, что через неделю-две будут ставить строшила на Катин сруб, а пока нужно отесать жерди, высушить их на весеннем солнце. Со срубом они справлялись неплохо: начали на исходе зимы, а уже положили последний венец.

Мужчины рассчитывали, что к осени, к наступлению холодов Катерина с дитем (оно должно вскоре появиться на свет) переберется из землянки в свой дом. Знали, она хочет, чтобы вместе с ней в новую хату вошла Надежда с детьми, дескать, пока ей построят дом, пусть живут. “Иначе пороги не переступлю!” — говорила Катя мужчинам.

Дом Наде собирались поставить на следующий год. Ей надо жилье попросторней — сама, да двое детей, Игнатий вернется с войны...

Постояли, покурили, полюбовались срубом. Строение неплохое, пять на пять метров, но пристройки требует — позже сладим.

Дом без глухой стены. Свет с трех сторон: с востока, с юга, с запада. В таком жить да жить...

Ближе к вечеру мужчины посоветовали Ефиму вывести лошадей на дамбу на первую травку. В лесу местами уже хорошо разлилось зеленое разнотравье, и плоский верх дамбы — со сруба видели, покрыт сочной зеленью. Коли так, надо вести лошадей. Сено кончилось, до травы дотянули, еще день-два — и не будет никаких забот с кормом.

Лошадей было двое. Все нынешнее богатство колхоза. Берегли их сельчане пуще зеницы ока...

Вот и повел их Ефим на дамбу. Спутал. Пустил, посмотрел, как они начали жадно щипать мягкую травку, да направился в деревню. Отошел недалеко, как вдруг что-то сильно толкнуло в спину, сорвало с головы шапку, покатило по дороге, обожгло шею, перекрыло дыхание...

Ефим не помнил, кто к кому прибежал тогда: мужчины к нему или он к ним. Но когда сошлись, Николай с Михеем подхватили его под руки, потянули в тот конец деревни, к взгорку, на котором стоял сарай, к самому высокому месту во всей округе. Знали, что туда вода не дойдет, никогда еще, даже в самые страшные паводки, его не затопляло...

Они спешили изо всех сил, вода настигла их только в середине деревни. Но здесь волна осела, ослабела и доходила всего лишь до колен, хотя пыталась сбить с ног.

Бежать было тяжело, в сапогах хлопала вода, да и Николая нужно было тащить за собой, деревяшка ему мешала.

Добежав до Катиного сруба, приостановились, чтобы осмотреться, какова опасность, ведь вода обогнала их еще на подходе к деревне.

Пока ничего особо страшного не заметили: волна, захлестнув Гуду, выдохлась, расплзлась дальше окрест. Мужчины спешили к взгорку в конце деревни, на котором стояли женщины и дети, махали руками, что-то кричали...

Целый день они были здесь, чистили лошадиные стойла, сгребли остатки сена с площадок, на которых раньше стояли стога, и разожгли печку — она недалеко от сарая.

Печку, как только сошел снег, из обгоревшего кирпича сложил Ефим. На ней грели воду животным, случалось, готовили ужин для всех. Сегодня вечером женщины собирались варить уху — рыба у них была, Ефим на ночь поставил на реке верши, а утром, пока ехать в лес, притащил мешок рыбы.

Старик знал рыбные пути, и даже по большой воде его верши никогда не пустовали. Сейчас, в бескхебицу, сельчане в основном питались рыбой.

Женщины и дети, стоя на взгорке, все махали и махали руками, звали мужчин к себе.

— Слава богу, всех уберег, — прошептал Ефим. — Всех...

Он не подумал, что в деревне есть еще один человек — Иосиф Кучинский...

...Когда взорвалась дамба, Иосиф был в своей хате. Обычно он не выходил из нее без особой надобности. Он давно уже держался в стороне от людей: добра они ему не желают, так зачем мозолить глаза? Знал, односельчане облегченно вздохнули бы, если бы его вообще здесь не было.

Но знать, что ты здесь нежеланный человек, одно, иное — уйти куда подальше, чтобы тебя не было ни слышно, ни видно. Уже было, однажды уходил из деревни, думал, что надолго, думал, пока его не будет здесь, людская ненависть к нему хоть немного да уляжется.

Уходил, и что с того?.. Не улеглась, и легче ему не стало. Пожил, поработал в городе какое-то время, даже на станции, на угольном складе занимал отдельный уголок. И хотя никто его там не знал, никому не было до него дела: где много людей — каждый сам по себе, — а покоя не было.

Ужасно, когда ты никому не нужен. Иосиф это хорошо прочувствовал. А не нужен, так зачем живешь?.. Чтобы пить да есть? Даже собака живет не только для этого: служит человеку да свой собачий род продолжает. А ты человек. Какая польза от тебя?.. Для людей ты в лучшем случае пустое место. Или — враг...

Было бы у тебя продолжение рода, наверное, люди прокляли бы его до седьмого колена. Но твой род на тебе и окончится. И через некоторое время никто не вспомнит, был ты или не был на этой земле. Разве что когда-то твоим именем будут пугать непослушных детей. Так случается: за какую-нибудь провинность обозлятся люди на человека или, не очень-то разбираясь в сути дела, припишут ему какое-то злое деяние, а потом несмышленных детишек пугают им, мол, не будешь слушаться, заберет...

Между прочим, так было и в его детстве: сделает ребенок что-то не так, пугают каким-то Филиппом. Дескать, подожди, вот придет Филипп, он тебе покажет...

И только взрослым узнал Иосиф, что Филипп — конокрад и однажды люди порешили его. Радовались, что лошадей больше не будет уводить. Да рано радовались, через какое-то время вновь начали исчезать лошади. Долго следили, наконец взяли вора. Оказалось, что Филипп здесь ни при чем. Вор на него указал. На своего друга. Вместе водку пили. А Филипп был обычным пьяницей, бездельником, ни больше ни меньше...

Наверное, и его, Иосифа, односельчане, была бы их воля, сжили бы со свету. А может, когда втихари так и сделают — не любят они его, особенно Ефим.

Их сыновья вместе на фронт шли. Ефимовы где-то там остались. Живы ли — неизвестно. А Иосифов дезертировал, да — к врагу...

Впрочем, было бы более понятно, если бы от него так же, как Ефим, Николай и Михай, отвернулась и Катя. Так нет... Катя, он видел не раз, поглядывала на него с сожалением. Ну что же, наверно, женская природа иная, чем мужская. Хотя и женщины бывают разные. И не все такие, как Катя. Вот она Иосифом дитя пугать не будет...

Не смог Иосиф жить в городе — чужое. Не смог без земли, на которой родился и вырос, на которой полюбил, да так, что и сейчас, на исходе жизни, душа горит, когда Теклюшку вспоминает...

Только любовь его оказалась горше самой горькой полыни... И вообще, где сейчас Теклюшка? По какой земле ходит, в каких краях кручинится?.. Жива ли?.. Ведь раскулачив ее Авдея, их сослали неизвестно куда. Какие там люди?.. И есть ли возможность возвратиться?

Это он из города вернулся, не спрашивая ни у кого разрешения. Возвратился к тем, кто считает его врагом. Вернулся, не имея зла на односельчан. Но с обидой, с болью: никто его не хочет выслушать.

Хотя, чтобы он им поведал, если бы пришли и предложили: “Выкладывай, Иосиф, что ты хотел нам сказать в свое оправдание”.

Да ничего не сказал бы. В чем оправдываться?.. В том, что Мария была ему чужая, а жил с ней? Или тем, что не своего отпрыска как родной отец принял, а вот человеком вырастить не смог? Или тем, что после того, как немцы уничтожили людей и деревню, не посмел нажать на курок, лежа, избитый сыном, в кусте сирени и целясь в него из винтовки? Целился в Стаса, а Марию видел — сын как две капли воды похож на мать...

Да здесь не рассказывать надо! Здесь, чтобы понять Иосифа, нужно почувствовать все, что у него на душе... А как почувствуешь, если у тебя самого, у всех своего горя — за век не сносить?..

Вернулся из города, повидав многое. Наверное, это и подтолкнуло к возвращению: там горе чужое, хоть и обжигает, да все равно не так, как свое, — мимо скользит. Да и от чужого горя можно укрыться, а от своего нигде не спрячешься. И ожог от него вечный, незаживающий...

Вернулся, думал, рано или поздно в своей деревне, на своей земле вновь, как когда-то, пригодится. Думал, как бы там ни было, со своими людьми найдут лад, ведь когда-то вместе жили: и одно поле пахали, и общий хлеб ели, вместе свадьбы играли, вместе на похоронах печалились. Но не случилось...

Вернулся не с пустыми руками, приобрел там мешок зерна (где ты его сейчас найдешь? кто тебе его даст?). Надеялся, наступит весна, земля очистится от снега, позовут сельчане: “Давай вместе сеять, Иосиф...”

Пока не позвали. И, наверное, не позовут ни пахать, ни сеять, и дом Кате ставить не позвали... Не нужен он никому в отдельности и всем вместе...

Так часто думал Иосиф, когда был один в хате и тайком, из-за занавески, смотрел, как мужчины возили бревна Кате на сруб, а потом возводили его...

Так думал он и в тот вечер, когда взорвалась дамба. Тогда, услышав страшный взрыв, от которого задрожал дом, да так, что, показалось, вот-вот рассыплется, погребет его под собой, не сразу понял, что случилось. А когда понял, вновь, как не раз случалось за его одинокую жизнь, многое передумал о себе, о Марии, о Стасе и о людях... Понял: во всем, что с ним случилось, сам виноват. И ключ той жгучей вины в том, что когда-то в молодые годы сам себе не поверил, а не Теклошке: ее надо было выслушать да понять, почему с ней так случилось... Выходит, он от веры своей отрекся, изменил чувствам своим, оскорбил любимую и от людей отвернулся... С собой все понятно, с Теклей — также, а вот с людьми...

6

...Михей, Николай и Ефим, добравшись до взгорка, выйдя из воды, поднявшись на вершину, долго не могли отдышаться и вымолвить слово, растерянно глядели на Надю и ее детишек, на Катю. А они, ничего не понимая, испуганно смотрели на Ефима, Николая и Михея, ожидая, что скажут.

Вид у мужчин был жалкий: мокрые, забрызганные грязью, из сапог через голенища, когда двигались по взгорку, выливалась вода.

Надя, глядя на них, сказала:

— Мы, как рвануло, очень испугались за вас. А вы здесь... Давайте быстрее к печке, грейтесь. Или в сарай, одежду снимите да накройте, там в углу возле полатей тряпье есть, а мы вашу одежду просушим.

Мужчины подошли к печке, повернулись к деревне, чтобы посмотреть, что там происходит. А там ничего особенного и не происходило: паводок как паводок, все затоплено, из воды возвышаются печные трубы да серая хата Иосифа Кучинского, в ее окне — красные отблески солнца, заходящего за бор, начинающегося справа от деревни, если стоять в направлении по течению реки. Николай и Михей посадили Ефима на колоду спиной к печке. Затем возле него присел Михей, показал рукой Николаю, чтобы сел рядом, — место есть. Тот, будто не зная, как быть, прыгал возле них на деревяшке, колот ею землю, было видно, как ему тяжело. Станет на самодельный протез и морщится, будто в тело вонзается шило. Наконец и он сел на колоду, отставив деревяшку.

Мужчины долго молчали. Молчали и женщины. Дети испуганно посматривали то на взрослых, то на затопленную деревню.

— Ничего, выбрались, — сказал Ефим. — Здесь и переживем паводок. Вода пошалит, пошалит да и отойдет.

Он замолчал, задумался, ему никто не ответил. Все думали о паводке. И взрослые, и дети.

Ефим осторожно повел головой, посмотрел на Катю: как же с ней сейчас быть... В Забродье не поплывешь. Туда бы, там дома, фельдшер есть. Видел: морщится, сжимается, боль в себе удерживает — вот-вот начнут схватки.

А Катя знала, что сегодня родит. Не ко времени... На день-два раньше бы. Сейчас здесь такое делается!.. Все в напряжении, испуганы... Боялась и не боялась: сколько женщин рожает, и — ничего. Надя поможет: но не наделать бы крику, детишек не напугать бы... Да и мужчин...

Она молча стояла возле ворот, о ней, о ней думает сейчас Ефим, все о ней думают...

— Деда, лодку снесло, — услышал Ефим будто издали и повернулся на голос. Рядом стоял Валик, растерянный, бледный. — Как бабахнуло, так здесь, — мальчик показал рукой на ту сторону возвышенности, к реке, где Ефим к врытому в землю столбику привязывал свою лодку, — вода зашумела, вытащила столбик и потянула его с лодкой.

Хорошая лодка было у Ефима, хоть и старая. Двухвесельная. На ней он когда-то возил сено. Ладную копну набросает — дно широкое — да с лугов везет сюда, к этому берегу. Ефимова хата стояла недалеко от него, и сарай рядом.

— Ничего, челнок выдолблено. Смотри, какое бревно, — старик показал на длинный, метра три, толстый, в обхват, сосновый чурбан, который мужчины еще зимой привезли сюда из бора, чтобы заменить прохудившееся нижнее бревно сарая. — Оно, конечно, лучше смастерить долбленку из осины, но и сосна сгодится.

Что без лодки будет тяжело, знали даже дети. А челн... Его еще нужно смастерить. Чем?.. Одним топором?.. Больше здесь инструмента нет, все осталось возле Катиного сруба. Николай и Михей, как услышали взрыв, все бросили да побежали к дамбе.

Нет, без лодки при большой воде очень плохо, тем более при такой, как сейчас. Но самое страшное, что затопило землянки, а в них одежда, еда. Как есть, так есть, уже ничего не изменишь, главное, что все в безопасности. А могло быть... Валик и Светка, когда Ефим собирался вести лошадей к дамбе на траву, могли увязаться за ним, конечно, если бы тогда были возле сруба, где часто играют. Могли быть на дамбе или возле дамбы и женщины. Мужчины когда-то устроили там мостки, на них было удобно стирать белье. Также и Николай с Михеем могли оказаться рядом с Ефимом: впервые после зимы он вел лошадей в ночное, а это для крестьянина праздник!.. Не пошли. Катин сруб их спас. А от детишек и женщин, как подумал Ефим, сам Бог беду отвел, хотя во Всевышнего старик не очень веровал. А если и верил, то как большинство мужчин: когда страшно — есть Бог на свете, перекрестись, рука не отсохнет. А как все хорошо, так не до Бога.

Сейчас было страшно. Сейчас верилось, что кто-то свыше отвел гибель, спас этих шестерых гуднянцев. Вообще-то сюда нужно добавить и еще одну жизнь, которая вот-вот должна явиться на землю...

Значит, можно считать, что кто-то, кому подвластно все происходящее на земле, спас от гибели семь жизней. Хотя был в деревне и еще один человек — Иосиф Кучинский. Но гуднянцы его в расчет не брали: у Иосифа своя хата, его и спасать не надо, сам выживет. В тепле да с едой (знали, что еда у него есть) он сейчас как у Христа за пазухой.

Ко всему, у Иосифа под навесом новая лодка! А это при такой воде — спасение. Раньше в паводки люди плавали на лодках от двора ко двору, помогали друг другу, сейчас же помощи не жди...

Вечерело. Угас красный блик в окне избы Иосифа Кучинского. Издалека она казалась пепельно-черной. Вода быстро почернела, казалась вязкой. У взгорка она была покрытая темно-коричневыми пятнами кудрявой пены, по-прежнему время от времени пытаюсь взобраться на вершину, но тут же соскальзывала назад.

Зубчатая стена бора, все еще тронутая багрянцем последних лучей залившегося за него солнца, казалась опрокинутой в бездну темно-красного зеркала, тяжело покачивалась в его глубине. И сруб, и изба еще долго отражались в воде, покачиваясь в ней, и исчезли только тогда, когда угас последний луч уже невидимого солнца и ночь опустилась на землю, окутывая ее холодом и кажущимся спокойствием, — утих гул волн, словно его и не было...

...И на взгорке уже было спокойно. Потрескивая, в печке метался яркий огонь, дрова были сухие, береза да осина. В огромном чугуне варилась уха: беда бедой, а есть надо — Надя готовила ужин.

Кажется, спокойна была и Катя, словно показывая всем, что ничего особенного не случилось. Паводок? Ну и что? Сколько их, тех паводков, прошло по этой земле, а люди жили и живут...

Всегда было так: придет паводок, но скоро выдохнется, утихнет и через некоторое время вовсе сойдет. А земля будет держать в себе ровно столько влаги, сколько нужно для хорошего урожая.

Вот и селились люди с незапамятных времен возле рек, большой воды не боялись: река кормит...

— Дядь Ефим, — сказал Николай, — днем все же надо будет посмотреть, может, лодку под какой куст прибило, недалеко отнесло. Тогда свяжем плот, достанем. А если нет — смастерим челн, на плоту будем плавать, коль такая случится надобность.

— Какая еще надобность? — сломал седую бровь Ефим.

— Ну, сельсовет или район...

— Пока большая вода, нечего туда наведываться. Забродье само в воде. Может, не все, а этот край, от нас, уж точно весь затоплен. Он низкий. Будто тебе это не известно. Там сейчас свой переполох. Кто выше живет, помогают сняться тем, кто пострадал, детишек в лодки сдают, вещи, харч грузят и живность, коли она у кого имеется. Да и фермой заняты, как-никак коровы у них есть, несколько лошадей. Что после немца осталось, а что в районе дали.

— Да знаю, знаю, — сказал Николай.

— А район далеко, — продолжал старик, не замечая его раздражения. — Чем он сейчас может нам помочь? Лошадьми? Так уже дал двух, а я не уберег, нет их, нет! Еще спросят за них, ох как спросят!.. Ну, разве что кто с войны будет идти, так поможет и район, и сельсовет: на лодке подвезут. К фронтовику повсеместно уважение имеется, особенно у власти. Тот же Савелий, участковый наш, коль надо, поможет.

— Жди, поможет. Считай, два месяца, как участковый, а к нам глаз не кажет.

— А зачем? — удивился Ефим. — Он тебе здесь нужен? У нас — порядок. Он это знает. Ты же ему сам говорил, что и как у нас, когда на оборани был.

У него участок большой, почитай, два десятка деревень. У нас тихо, а там, случается, и постреливают, особенно ближе к городу, да если в лесу... Сейчас мы как никто отрезаны от всего мира, кто из недобитых сюда сунется?

— Что верно, то верно — никто.

— Так что, Николаюшка, получается, плавать нам некуда, разве что к бору, когда дровишки окончатся. — Старик посмотрел на сухие жерди возле сарая: на неделю хватит... А сельсовет, Забродье — так все же должен кто-то не сегодня завтра явиться сюда: взрыв не могли не слышать. А вдруг... Если что — помогут, детишек заберут. Может, и женщин. Катю так обязательно надо туда переправить.

— Никуда мы от вас не поплывем! — сказала Надя. — Я своих детей в жизнь никому не отдам даже на день! А Катерину как в лодке везти? Мало ли что... Это же — вода. А здесь худо-бедно — сухо, тепло. Сами же полати сладили, на чердаке сено разостлали, постель я ей сделала. Да и я при ней. А там кто?

— Да помогут, говорю. Чай, и там люди. Да власть...

— Помогут, помогут... — словно передразнила она Ефима. — Кому там до нас дело? Там своего горя хватает. И в Забродье много дворов выгорело.

— Если надо будет, помогут, — попытался сгладить резкий тон разговора Николай. — Там же, говорят тебе, — власть.

— Не спорьте, — встрял в разговор Михай. — Все оно так. Только я вот что вам скажу: беда наша, сами ее и одолеем. — Он немного помолчал и добавил: — Сейчас нужно, чтобы все были на виду. За детишками глаз да глаз нужен. А чтобы их в Забродье, или еще куда отдать — нет! Даже будь у нас лодка, я ни за что по такой воде, когда все крутит, крошит, рвет, никого никуда не повез бы. Ни Надежду с детишками, ни тем более Катерину. Нам нельзя отрываться друг от друга.

— Михай, конечно же, никто никуда не поехал бы. Если бы даже лодка была, и не поедет, когда будет — сказала Катя. — Это просто такой разговор. Мол, могло быть так и этак. Это...

Она не договорила, ойкнула, сжалась.

— Наверх! Быстрее вверх! — приказала ей Надя и добавила: — Дядь Ефим, ты уж сам смотри здесь. Воды нам согрейте. В сарае в углу, справа от двери, на полке чистая посуда. Я сама песком вычистила.

— С Богом, — еле слышно, будто сам себе, молвил старик и, отвернувшись от мужчин, тайком перекрестился.

7

То, что Ефим, будто стыдясь, перекрестился, мужчин не удивило — в последнее время за стариком такое хоть изредка, но замечается...

Как только женщины вошли в сарай, Ефим, словно что-то вспомнив, поспешил за ними.

В сарае уже было темно, слабый вечерний свет даже через приоткрытую дверь не проникал туда. В углу, за лошадиными стойлами, мекала коза. Ни женщины, ни Ефим на нее не обращали внимания, хотя старик подумал, что нужно было бы какую-то горсть сенца бросить ей. Но потом, потом...

Слева от двери на стене на гвоздях висели два фонаря. Ефим взял один, зажег его, чтобы светить женщинам. Они подошли к лестнице на чердак. Ефим с волнением наблюдал, как Катя осторожно поднимается по лестнице, как Надя поддерживает ее.

Когда женщины забрались на чердак, Ефим подал Наде фонарь, попросил:

— Надька, доченька, ты уж смотри сама, мы ничем не можем тебе помочь.

— Да не надо, дядь Ефим, — сказала Надя. — Сама справлюсь. Какая в этом деле от мужчин помощь? Не мешать. Воду согрейте. Когда скажу, подадите. Да не волнуйтесь, я знаю, что надо делать. Меня мама научила, когда я еще и замужем не была.

— Все будет хорошо, — в свою очередь попробовала успокоить старика Катерина.

Как и всякую женщину, рожающую первый раз, неведение пугало ее: как это будет... Боялась не боли: сколько женщин на земле рожали до нее, кто с криком, кто со стонами, а кто и звука не проронив... Боль она выдержит, будет делать все, что ей скажет Надя, доверится старшей подруге, как могла бы довериться матери, сестре. Боялась иного: здоровенький ли будет ребеночек — вынашивала его не в тепле и не в сытости, часто слезами умывалась, Петра вспоминая...

Надя от своей матери, известной во всех близлежащих деревнях повитухи, научилась помогать роженицам. Надина мать (с незапамятных времен меж людьми заведено передавать из поколения в поколение жизненно важные знания) от своей матери научилась принимать новую жизнь. Состарившись, она начала брать с собой к роженицам свою заневестившуюся дочь Надю. Не сосчитать, сколько детишек в окрестных деревнях, а также в Гуде приняли руки Надиной матери... Летом сорок третьего сгорела она в колхозном клубе вместе с односельчанами, куда их загнали фашисты.

Ефим еще немного постоял в сарае, снял со стены второй фонарь, но не зажег его, только качнул: есть ли еще керосин. В колбе весомо плеснуло — есть, не выжгли, почти полный.

Этот фонарь Николаю дал участковый Савелий Косманович. Как-то Николай по председательским делам был в сельсовете на сходке, рассказал местному активу, как гуднянцы живут.

Сказал, что зерна нет, что живут в землянках. Повадал, что ставят дом вдове-солдатке, что имеют двух лошадей, их осенью дали в районе — дескать, живут его односельчане, как и все люди, не хуже и не лучше.

Савелий, бывший фронтовик, только что демобилизованный по ранению, как и Николай, после совещания завел его к себе в боковушку, в "кабинет" (сельсовет располагался в уцелевшей избе), при слабом свете фонаря, стоящего на столе, налил стакан первача, посетовал, что пока ничем не может помочь.

Николай выпил, “прикусил” рукавом, не торопясь ответил, что помочь он может, и показал на фонарь:

— Вдова Петра Журовца, Катерина, на сносках, живет в землянке. Свет у нее такой: коптящая снарядная гильза.

— Жаль Петра, жаль Катерину, — вздохнул Савелий. — Такая пара была! Он — богатырь, она — красавица. По ней, пока с Петром не сошлась, многие ребята сохли... Сейчас у нее — ни мужа, ни родителей. Конечно, поможем чем только можем.

Прощаясь, Савелий молча подал Николаю фонарь с керосином...

Катя от фонаря отказалась, сказала, что гильзу зажигает редко, пусть фонарь будет в сарае, там он нужнее: при хозяйстве.

Старик повесил фонарь на место, подошел к полке, приделанной к стене, взял огромный чугунок и, помня Надин наказ согреть воды, вышел из сарая.

Уже хорошо стемнело. В печке по-прежнему метался огонь, освещал небольшую часть островка, людей, собравшихся на нем. У подножья, на воде колыхались длинные мягкие сполохи.

Ефим торопливо спустился к воде, сбросил тяжелые сапоги, не закатывая мокрые брюки, зашел в нее почти до колен, опустил чугунок, набрал. Холода он не чувствовал, хотя ступни покалывало.

— Деда, ее надо обязательно процедить, — сказала Светка, когда он подошел к печи. — У меня платок чистый. А вот другой чугунок. Я все сделаю.

— Ну да, — согласился старик, — только я тебе помогу, чугунок тяжелый. Светка молча сняла с головы платок, подала Ефиму пустой чугунок. Воду процедили. Ставя чугунок в печку, Ефим сказал:

— Большая уже. Скоро мать заменишь. А сейчас идите с Валиком да прилягте на полатах. Умаялись. Отдохните. А я кликну, когда помощь потребуется, особенно твоя, Светка.

— Хорошо, деда, — ответил за себя и за сестру Валик, он стоял рядом, не зная, что делать. — Только ты разбуди нас, когда помощь потребует-ся, ладно?

— А как же! — ответил старик, подбрасывая в печь дрова...

...А тем временем, когда дети улеглись на полати и вскоре уснули, утомленные за день, Катя лежала на грубом солдатском одеяле, разостланном на тонком слое сена. Ей было плохо, но она владела собой, не кричала, только тихо стонала. Фонарь, висевший на стропиле, слабо освещал Катину лицо, перекошенное от боли.

Надя видела, как непросто ей сейчас, наклонилась над Катей, начала шептать:

*Полям чистым, морем быстрым
Шла мать Пречистая.
Она травцу рвала, воду брала,
Рабе божьей Катерине
Все тело омывала и в море спускала.
Как по морю вода расходится,
Чтобы так у рабы Божьей Катерины
Кость расходилась.
Я не знаю, сам Господь Бог знает и помогает.
Я — со словом — Господь Бог с помощью и
Святым духом...*

Этот заговор Надя шептала трижды. Затем читала молитвы, которые когда-то слышала от своей матери. И вскоре Катей овладело какое-то удивительное, похожее на сон состояние, хотя понимала: все, что с ней происходит, происходит наяву, и явь эта какая-то туманная, на грани, за которой исчезает сознание.

Наяву — лежишь на чердаке. Над головой фонарь. Она видит склонившуюся над ней Надю... Надя по-прежнему шепчет какие-то таинственные, успокаивающие слова...

...И грезится: Петро перед ней... Ласково улыбается, протягивает к ней руки, хочет обнять, то ли зовет к себе, то ли за собой...

Она улыбается в ответ, но не соглашается и вместе с тем не сопротивляется: будто раздумывает, как быть, при этом понимая, что грезится... И вдруг наяву чувствует, что уже не одна на этом свете, а если так, то ей нельзя в тот мир, где сейчас Петро... Хочет сказать ему это, но губы не слушаются, не может... И чувствует, что и он понимает — нельзя ей идти за ним, — так же неожиданно исчезает, как и появился...

...Очнулась от неизвестного ей доселе своей теплотой, своим родством, своей кровностью пронзительного, беспомощного детского крика, требующего всего ее существа, тепла, ласки, заботы. И этот крик наполнил ее неизъяснимой, ни с чем несравнимой материнской радостью, теплотой и нежностью. Она поняла: сыночек, и осторожно приложила его к своей груди...

Крик ребенка слышали и мужчины. Перед этим они тоже заметили отблески огня. Но не в небе, а там, где стояла Иосифова хата. Были они пугливые, слабые, мелкой россыпью дрожали на черной воде, то вспыхивали, то исчезали. Но сейчас мужчинам было не до них — здесь такое делается, а это, наверное, Иосиф вздумал растопить печку, согреться, вода-то в его избу вряд ли забралась, фундамент высокий...

— Слава тебе, Господи! — не то простонал, не то произнес Ефим, поднимаясь на чердак, держась одной рукой за ступеньки, а другой прижимая к себе завернутый в тряпье чугунок с теплой водой.

Воду, пока Катя рожала, успели прокипятить, еще раз процедить, остудить, чтобы подать матери, пустившей на свет ребеночка, своим криком оповестившего людей о том, что в этот горестный, страшный и жестокий мир пришла новая человеческая жизнь...

8

Имея мешок зерна да лодку у крыльца, Иосиф без особых забот мог переезжать паводок. Но тем не менее, не мог оставаться здесь.

Ему и раньше жутко и одиноко было в своем доме. А после того, как пожил и поработал в городе, повидал разных людей, понял, как огромен мир человеческой жизни. Вернувшись домой, почувствовал себя вконец раздавленным этими серыми стенами, закопченным лучиной потолком. Захотелось вырваться из-под душающего гнета некогда построенного им же дома. Здесь он давно уже чувствовал себя не то что за решеткой (за решетку ветер врывается, приносит свежий воздух), здесь он, как в наглухо заколоченном гробу...

Вообще-то, если откровенно признаться, его дом, его хата была своеобразной западней для Иосифа столько, сколько жил в ней с Марией. Разве только той разницей, что раньше, когда хотел пойти к односельчанам, — шел, ничего не боясь и ни у кого не спрашивая разрешения.

Приходил к людям, говорил с ними, забывал о своих печалях и даже, кажется, ощущал радость от общения с ними. Хотя радость была с примесью горечи, потому что, сколько себя помнил, вся его жизнь проходила хотя и с людьми, но все же будто в отдалении от них. А горечь — знал, что многие ему сочувствуют, жалеют его, — стыдно было... Еще бы, видят, что не клеится у него с женой — она, не таясь людей, брезгает им и, как сказывали, за драное лыко не считает...

Иногда и горько было, ощущал себя последним негодяем: знал же, что между Марией и Матвеем любовь, так зачем взял ее в жены, зачем обрек и их, и себя на страдания.

Верно говорят люди, что на чужом несчастье свое счастье не построишь. Не построил...

Опостылила ему его хата после возвращения из города, после того, как сам заточил себя в ней, сторонясь людей, не выходя к ним: боялся — не примут, по-прежнему будут мстить за сына-изверга.

Не было ему покоя в своем доме (не говоря уже о счастье), и с Марией, и одному. Одному, вроде, должно быть просторно, но — нет, все давит!.. И вдвоем с Марией было уж очень тесно. Не было здесь места ему и рядом с сыном-полицаем.

И сейчас ему страшно здесь: не дом, а гнездовье адского зла. Да, да, много здесь собралось зла, много... И, может быть, если бы оно касалось только одного его, еще выдержал бы. Но после того, как немцы, уничтожив деревню, вместе со Стасом пиршествовали здесь, — зло стало адским...

О нем Иосиф не забывал ни на минуту. Он чувствовал его днем и ночью, каждое мгновение. Ночами его мучили кошмары. Он просыпался в холодном поту и, когда открывал глаза, во тьме рядом с собой видел (грезилось?) какие-то тени. Казалось, они вглядываются в него, казалось, это Мария и Стас преследуют его, тянутся за ним, не отставая ни на шаг, — дальше такое невозможно было терпеть...

В тот вечер, когда взорвалась дамба, Иосиф пытался очистить свое жилище от темной силы. Как это сделать, он знал: нужно зажечь свечи. Если свеча потрескивает, а язычок пламени бросается из стороны в сторону, значит, в доме нечисто.

Свечи у него были, еще довоенные, церковные. Иосиф зажигал их, ставил в стакан на столе — одну, другую, третью — свечи трещали, язычки пламени метались...

Он никогда не желал Марии зла. За что ему было на нее злиться? За то, что был немил? Так и она была немила ему. Сам виноват, что все так произошло.

Умерла Мария рано, как рано умирали все ее сестры, дочери Варивончика... А Стаса, сына своего, так открестись от изверга, отец, да не откреститься — за него ответ держи, прежде всего перед собой: не смог вырастить человеком...

Поставив в стакан очередную, четвертую зажженную свечу, Иосиф снял из красного угла икону, осторожно завернул ее в чистое полотенце, некогда доставшееся ему от мачехи и к которому с тех пор, кажется, ни разу не прикасался, положил под рубаху на грудь. Затем сунул в карман брюк коробку спичек, подошел к печи, достал из печурки завернутые в тряпочку камешки кремня, также спрятал в карман.

Потом собрал в вещмешок еду (несколько банок тушенки, кусок сала килограмма на два, десяток горстей пшена, завязанного в узел, с полведра картошки, хорошую горсть соли). Поднял — весомо, занес в лодку. Перед этим, вечером, по еще небольшой воде сходил под навес, где она была привязана, пригнал к крыльцу, привязал к столбу, как делал в прежние паводки.

Затем вернулся в дом, зашел в кладовую, притащил оттуда мешок зерна и положил в лодку на переднее сиденье. Это зерно он выменял за золотой червонец царской чеканки. Выменял зимой в городе у знакомого мужика из Забродья Михаила Калистратова, человека жуликоватого, принимавшего в войну и партизан, и немцев, а после освобождения не пошедшего на фронт.

Иосиф в высоких, до паха, сапогах немного постоял на крыльце — вода сжимала ноги выше колен, прислушался к тому, что делается вокруг. А вокруг было тихо, словно все вымерло в Гуде...

“Что же я стою?” — спокойно, как о чужом, подумал Иосиф и решительно ступил в лодку, взял весло, лежавшее на дне, оттолкнулся от крыльца и поплыл.

Путь у него был один — туда, к взгорку, к людям.

Он плыл, а на землю все глубже и глубже опускалась холодная майская ночь. Ее темный, усеянный крупными мерцающими звездами полог трепетал от порывов колочего ветра. Казалось, местами этот полог протерт и через слабо освещенные дыры к земле спускаются космы сизого тумана. Ближе к воде туман слоился — вверху казался шершавым, а у самой лодки — волнистым и мягким, тянулся в направлении взгорка, где трепетали красные языки пламени.

Он знал, что топят печь, повернутую чревом к деревне. Подумал, что огонь могли разжечь специально для него: вдруг вздумает плыть к односельчанам, так вот тебе ориентир... Огонь, трепетавший в печи, и был ориентиром, на который он плыл, иначе в темноте мог бы сбиться с пути.

Иосиф уверенно подсекал веслом под кормой лодки воду, старался держать нос своего суденышка прямо на огонь. Вскоре огонь ослаб, будто в печь

плеснули воды, а еще через минуту погас. Но впереди все же были заметны очертания островка, сарая на нем, гряды кустов, пробегающих через весь взгорок от воды до воды.

Лодку несло в нужном направлении. С каждым взмахом весла ее нос все дальше и дальше легко вспарывал густую ночную тьму. Когда же луна выскальзывала из-за туч, слева и справа от суденышка бледно-желтыми тенями проплывали печные трубы. Иосиф безошибочно определял, где чья: вот Ивана, а это — Кириллы, а та — Федора... Катерины... Тодоры... И каждая труба, оставаясь позади, была как напоминание о своем хозяине или хозяйке, которых уже нет на земле. И каждый раз у Иосифа возникало такое ощущение, будто кто-то из этих людей вонзает ему меж лопаток острый нож, да не так, чтобы насмерть, а на страдания: смотри, запоминай — и твой сын приложил руку к нашей гибели...

Иосифу не хватало воздуха, и он, словно рыба, выброшенная из воды, только обессиленно открывал и закрывал рот. Так было, пока не проплыл мимо последней трубы — Ефима, оставшегося в живых, друга молодости, а нынче недруга, к которому он плыл, надеясь на сочувствие в его страданиях... Исчезла труба, а на душе легче не стало, даже подумал: не повернуть ли лодку назад, к дому?..

Подумал, и все внутри сжалось: дома-то у него не было, хата была, стены были, крыша над головой была, а дома — нет.

Дом там, где тебя ждут. А его никто не ждет. Да и никогда никто не ждал...

“Нет, не вернусь”, — твердо решил Иосиф.

...Тем временем позади на воде заметались слабые отблески света. Иосиф заметил их, когда очередной раз подсек веслом воду под кормой, когда нос лодки взял вправо, заметил боковым зрением. Но странно, не придал этому никакого значения — скользнула и исчезла, — волна вновь повернула нос лодки влево, поставив его в направлении взгорка, где неожиданно заметался желтый огонек, — фонарь, понял Иосиф.

Он быстрее заработал веслом, уже гребя справа и слева, даже начал бить им по воде, надеясь, что его услышат.

Но похоже, никто его не слышал. Никто не окликнул. Тогда, подплыв еще ближе, Иосиф закричал:

— Люди! Люди!

Ответа не было...

“Неужто что случилось?..” — в отчаянии простонал Иосиф и вновь хотел крикнуть: “Люди!..”, но из груди вырвался хрип...

Тем временем Ефим, заметив лодку, закричал, чтобы греб на него, стал подсвечивать фонарем. Иосиф облегченно вздохнул, начал причаливать... А когда причалил, разговор между ними был только им двоим известный. И этот разговор некогда бывших друзей, оказался совсем не дружелюбным...

А перед тем, глядя в темную фигуру Ефима, Иосиф кричал ему, что у него есть харч, что хата его еще теплая и что сейчас односельчанам, особенно детишкам, — туда надобно...

Охладил его разговор с Ефимом, словно плеснул в душу ледяной водой, от радости ничего не осталось. Растерялся Иосиф, не зная, что делать, а тут еще услышал из сарая: “Да закройте вы дверь!..”

Эти слова повергли его в шок, стыд обжег душу, и он понял: отныне между ними — непреодолимая стена...

...Односельчане не приняли его, а он-то думал, что новая общая беда, если не примирит их, то хоть чуть-чуть сблизит.

Иосиф надеялся, что время, прошедшее после войны, надоумит односельчан посмотреть на него как на человека, не имеющего перед ними никакой вины: он никогда никому не причинял никакого вреда.

Да, он отец изменника. Но кто из родителей знает, каким станет его дитя? Случается, и родители хорошие, а ребенок, как его ни воспитывай, вырастает плохим человеком. Наверное, не зря в таких случаях говорят: “И в кого он такой?..”

Так в кого Стас? В бабу с дедом, которых все считали кровопийцами, и не без оснований, — на людей зверьем смотрели, никогда никому не помогли, не посочувствовали...

В мать, в Марию? Мария была такая, как и ее родители. В него, Иосифа? Но он до сих пор сомневается, он ли Стасов отец: только начали жить с Марией как муж с женой, а она — уже с животом.

Сплетничали женщины, что Мария понесла от Матвея. Любовь у них была. Он старовер, с дальней деревни. Она новой веры. Его родители их разлучили: нельзя ему “поганку” брать... Коль жизнь так повернулась, да все по-хорошему было бы, пусть бы и так. Дитя при чем? Невинным оно рождается, но коль ты его принял, воспитывай, ответ за него держи, отец или нет. Получается, люди правильно считают: он в ответе за злодеяния сына. Поэтому как не принимали они ранее Иосифа, так не приняли и сейчас. Им нипочем, что он отрекся от сына, хотя и знают об этом. Знают, что он не пускал Стаса идти служить врагу. И еще много чего знают и о Стасе, и о нем, а что с того?

Нет ему места среди людей, которые когда-то были своими. Сейчас он в очередной раз убедился в этом.

Значит, прочь отсюда!.. Нужно как можно дальше держаться от них. Прочь, прочь!.. Но куда? Да куда глаза глядят!..

Иосиф сошел из лодки в воду: по колено. Волна толкнула лодку к сараю, повернулся и решительно двинулся к противоположному краю островка.

Он шел и не видел, что Ефим смотрел ему вслед, не зная, как быть. Впрочем, Иосифу это уже было не нужно. Он знал, чего хотят от него люди: чтоб быстрее сгинул с глаз, исчез с их островка, на котором они нашли спасение от паводка.

Но если так, этот островок такой же его, как и их. Он знал это место с детства. Знал, может быть, даже лучше, чем Ефим, неизвестно откуда пришедший когда-то в Гуду. Знал лучше, чем Николай и Михай, тем более, чем женщины и детишки.

Этот островок среди воды был самым высоким местом во всей округе. Небольшой, метров пятьдесят в длину, почти наполовину меньше в ширину, он стоял слева от деревни, за которой начинался клин бора.

Взгорок всегда жил сам по себе: и в паводок, и в засуху, и зимой, и летом. Еще бы, все вокруг связано с водой. И деревня, находящаяся в пади, и бор, и заливные луга на той стороне реки, и стежки-дорожки, ведущие в Гуду из далеких и близлежащих деревень. Здесь всегда все было прочно связано, переплетено между собой. А взгорок, погорок, гура, гора — просто возвышенность за деревней у реки, — как кто хотел, так и называл это место. Ведь в Гуде до того, как ее уничтожили фашисты, жили не только белорусы, но и несколько семей староверов, пришедших сюда откуда-то из России в далекие времена, спасая веру свою, семья переселенцев из Украины, польская семья, поселившаяся здесь неизвестно когда... Ладом жили, берегая свое и уважая чужое, помогая друг другу и в радости, и в горе...

В былые времена взгорок был как некая особая часть суши на этой земле, таившая в себе неразгаданную животворящую силу.

Сколько себя помнил Иосиф, здесь в паводки находили спасение зайцы, косули, дикие кабаны, а то и лоси, убегающие от большой воды со своих лугов, лесов, перелесков, полей, находящихся на этой стороне от Гуды, в направлении Демковских болот. Зверье, отрезанное от бора и не имеющее возможности добраться до него, пережидало здесь паводок. В былые времена зверя никто не трогал. Когда случалось, какой озорник говорил: не взять ли ружьишко да поплыть туда, — старики тут же осаживали его:

— Только попробуй!.. Мы с тебя самого шкуру снимем: живое спасения ищет, и походя лишать его жизни — большой грех.

Словно родниковой водой окатывали разгоряченный умишко — утихал молодец, со стариками шутки плохи:

— Да ну вас! Пошутить нельзя...

Никто не осмеливался в такую пору с ружьишком и шага ступить на островок, возвышающийся среди бескрайнего моря воды.

...Размышляя так, он остановился у кромки воды, зная, что будет делать дальше... Снял фуфайку, свернул, перевязал рукава, сжал как смог — меньше набухнет. Остался в рубашке, нащупал на груди булавку, снял шапку. Затем стянул сапоги, ноги были сухие. Свернул портянки, воткнул в сапоги и, плотно перевязав голенища ремнем, перебрался через плечи, как коромысло: сейчас можно и в глубину, обувка цела, в ней худо-бедно держится воздух.

Иосиф не оглядывался, хотя и заметил, что по кустам на гриве островка, справа от него скользят отблески света. Подумал, что, наверное, Ефим при свете фонаря повыше затаскивает лодку. Это хорошо: в лодке еда, зерно, икона.

Не смотрел он и по сторонам. Если бы глянул туда, где стояла его хата, увидел бы, что внутри, пытаясь вырваться наружу, мечется огонь.

Иосиф на шаг ступил в воду — у самого взгорка по колено. Значит, дальше глубоко. Впрочем, это он и так знал, дальше начинается впадина.

Отметил, что особого холода не чувствует, но понимал, что это обманчивое ощущение, что вода довольно холодная. Постоял, всматриваясь вперед и определяя, куда спускается темный клин бора, — его верх был потянут узкой дрожащей ломаной полоской света. Небо очистилось от туч, и луну закрывал только легкий туман. Иосиф перекрестился и бросился в черную воду...

Вода обожгла лицо холодом, потянула вниз, сжала, через мгновение вытолкнула на поверхность и опять попыталась поглотить его. Но он не поддался, перевернулся на спину, широко раскинув руки, взмахнул ими, поплыл.

Плавать он научился в раннем детстве, жизнь его прошла на реке, и он хорошо знал, что на спине плыть легче: слегка гребь руками, отталкивайся ногами, шевелись — и будешь держаться на воде. Однако вода весенняя, талая, еще не прогрелась, и продержится он в ней не более получаса. К бору, если не сойдет, доплывет минут за десять-пятнадцать. Главное, чтобы не свело руку или ногу. Впрочем, если сведет руку, нужно прокусить ее до крови — отпустит. Если же ногу — немедленно отстегивай булавку да коли как только можешь...

Это он знал с детства. Старики учили несмышленных мальчишек, что делать, если вдруг перевернется лодка, а ты не успеешь ухватиться за борт и тебя снесет течением, а потом сведет руку или ногу.

Старики многому учили ребят. И конечно же, передавали свой опыт выживания на воде, в лесу в разные времена года, когда помощи ждать неоткуда.

С пути он не свернет, плывя на спине, видит, как над гребнем бора колыхается все та же желтая нить. Она не исчезает, хотя вокруг посветлело — туман заметно поредел, будто прохутился, стал почти прозрачным, так что и луна светит, и звезды видны.

Плыть было тяжело, хотя голову и спину поддерживали наполненные воздухом, пережатые в голенищах сапоги. Да и фуфайка поддерживала, лежал на ней, как на подушке. Тяжело, наверное, потому что состарился, изнасился. Это в молодые годы, когда еще не сойдет паводок, он мог напрямик доплыть до Забродья, да не отдыхая — назад. Перед Теклошкой хвастался: дескать, смотри, какой я — она стояла на мосту и с замиранием сердца наблюдала за ним.

И, наверное, сейчас, если бы не сапоги, наполненные воздухом, поддерживающие его на плаву, уже давно пытался бы достать ногами дно. И уже проплыв не менее половины пути, увидел, что желтая нить на вершине бора отяжелела, разорвалась, сползла в воду, но не погасла в ней, а вспыхнула пламенем — какой-то огонь отражался в ее глубине.

Иосиф повернул голову влево и увидел, что горит его дом...

“Ну, вот и все, — почему-то с облегчением подумал он. — Нет мне пути назад. В лес, в лес, подальше от людей!..”

9

В ту тревожную ночь, когда исчез Иосиф, никто из гуднянцев не заснул. И утро тоже особого облегчения людям не принесло. Вроде все хорошо, Катерина родила мальчика, выбилась из сил, тихо лежит на чердаке, а ребенок, говорила Надежда, пососав грудь, посапывает возле матери.

Тревога охватила всех, когда у Катерины начались схватки. А потом ужас, когда неожиданный паводок затопил все окрест, исчезли под водой землянки.

Еще хуже стало после того, как Иосиф, приплыв сюда, оставив им лодку с провиантом, с зерном да иконой, завернутой в ручник, исчез... А когда хату его охватило пламя, люди ничего не предприняли, чтобы погасить.

Конечно, можно упрекнуть себя: почему даже не пытались поплыть туда? Ну, поплыли бы на Иосифовой лодке, и что, потушили бы?.. Пламя занялось изнутри. Это они видели. Оно быстро разметалось по всей хате, через минуту вспыхнуло так, будто внутри дома что-то взорвалось: гонтовую крышу вмиг снесло. На воду долго сыпались искры. Попробуй подплыви...

Сначала думали, что Иосиф сам сгоряча поджег ее. Облил стены бензином или керосином, зажег где в уголке огонек, чтобы, пока разгорится, отплыть подальше: иначе почему все так быстро произошло? Кто-то даже произнес это вслух, то ли Михей, то ли Николай, как догадку. Но Ефим сразу же прикрикнул на него:

— Ты это брось! Какой ни есть, но не фашист, чтобы дом поджечь! Я с молодости его знаю! Мы с ним столько изб поставили!.. Да, судьбой обделен был, но никогда не вредничал. А что в войну произошло, так это...

Не договорил, будто обмяк, застонал от бессилия что-то изменить и вдруг подхватился, заметался по островку, как загнанный в клетку, простонал: “Иосиф...”

Михей с Николаем, словно опомнившись, начали звать: “Иосиф! Иосиф!” Ни звука в ответ, поздно спохватились, час прошел, а то и больше. Может, его уже и в живых нет?..

— Что же я сделал! — стонал Ефим.

— Может быть, сошел куда? — предположил Николай. — Может, смотрит сейчас издали, как догорает его дом, да волосы на себе рвет.

— Да куда ты отсюда уйдешь? Вода везде — дна не достанешь. Затянуло под какой куст и — нет человека.

— А мы что? — встрял в разговор Михей. — Наша в чем вина? Своего горя невпроворот, так здесь еще он. Кто его звал?..

— Дядь Иосиф! — вновь закричал Николай, сложив руки рупором. — Дядь Иосиф! Отзовись!..

Покричал, покричал и смолк, ответа нет. Вздогнул — глухое эхо словно плетью хлестнуло по лицу... Вздогнули и Ефим с Михеем.

Тем временем из сарая вышла Надя, спросила:

— А где это дядь Иосиф? Шел бы погреться, ночь холодная. Орете-то чего?

— Нет его здесь, поэтому и орем, — ответил Ефим. — Может быть... — он еще что-то хотел сказать, но смолк, так и не договорив.

Надя покачала головой, вернулась в сарай, где спали ее дети.

— Дядь Ефим, — сказал Михей, — ты огонь разожги, а мы с Николаем кусты осмотрим.

Ефим молча пошел к печи, положил дрова, начал разжигать огонь, все еще надеялся, что Иосиф где-то поблизости, на взгорке прячется. Увидит огонь, выйдет, слышит же, как они его зовут. Не вышел...

Через полчаса Николай и Михей вернулись озадаченные. На вопрос “Что там?” Николай ответил:

— Следы от сапог ведут прямо к воде. У воды он потоптался на месте, потом снял сапоги и, наверное... Больше на песке ничего — ни сапог, ни одежды.

— Что же делать? — спросил Ефим скорее сам у себя, чем у Николая и Михея.

Те неопределенно пожали плечами...

А через неделю, когда вода постепенно начала отступать и уже примерно на полметра отошла от взгорка, сюда прибыл участковый Савелий Косманович. Савелий был родом из Забродья. Почти ровесник Петра, Ефимовых сыновей и Стаса, с которыми уходил на войну, вскоре после освобождения

района, демобилизованный по ранению, вернулся домой. Савелий стал участковым.

Приплыл Савелий на лодке, привязал ее к торчащему из воды у самой суши пню, тяжело ступая блестящими хромовыми сапогами по вязкой земле, подошел к сараю.

Ефим стоял возле лодки, оставленной Иосифом. Ее вытащили сюда, перевернули вверх дном — хотя и новая, а протекает, надо бы просмолить...

Был Савелий в милицейской форме. Значит, прибыл неспроста, подумал Ефим, выпрямляясь и настораживаясь.

Участковый, подойдя к старику, молча посмотрел на лодку, покачал головой, затем резко козырнул, обнял Ефима за плечи, молвил:

— Крепись, дядя Ефим, твоих сыновей ищут.

То, что его сыновей ищут, Ефим и без Савелия знал. Конечно, старик прежде всего хотел услышать от участкового что-то конкретное о них, а тот ничего нового не сообщил: "...ищут..."

Ефим после того, как освободили район, подождав с месяц, но так и не получив никаких вестей ни от сыновей, ни от командования части (где-то же они служили, коль в военкомат в начале войны пришли), подался в город, чтобы узнать, что с ними.

В военкомате сказали, что сделают запрос куда следует, а потом обязательно сообщат. Но до сих пор не сообщили Ефиму, живы ли они, погибли или пропали без вести.

— Одно могу сказать, отец: до фронта они не доехали. Их поезд разбомбили, и с того времени следы твоих сыновей теряются.

— Как так? — растерялся старик. — Михей сказывал, что их еще в военкомате в танкисты определили. Если, как ты говоришь, поезд разбомбили и их следы касаются, так должна быть бумага, что пропали без вести.

— На войне всякое случается. Например, плен. В общем, если будет заведено, что твои сыновья пропали бесследно, тогда и пришлют официальное уведомление. А пока надо надеяться и ждать.

Ефим молча посмотрел на Савелия. Лицо у него было какое-то отрешенное, ни один мускул на нем не дрогнет, слова произносит, как давно заученные, не свои, не из души идущие — никаких чувств, переживаний. А слова-то жестокие, нутро ледянистое, и впечатление такое, что говорит не человеку, которого они касаются, а неизвестно кому — бросает в пустоту, и только. Дескать, я говорю, что знаю, а ты как хочешь, так и воспринимай. И глаза у Савелия холодные, ничего не выражающие, вроде и на тебя направлены, а мимо скользят — нет тебя перед ним, горем угнетенного, нет...

Так и стояли друг перед другом: высокий худой старик с изможденным суровым лицом, с непокрытой седой головой, и молодой, крепкий, на вид — кремень, участковый.

"Официальное уведомление, говоришь, — скользнуло в сознании Ефима, — что ж, коль уж обходит оно меня, может, и живы..."

Такое уведомление на Ефимовых сыновей у Савелия было, и лежало оно в кармане его гимнастерки. Савелий перехватил бумагу у заброденской почтальонки, которая обслуживала и Гуду, время от времени приносившей сюда кому похоронки, кому вести от сыновей, отцов, мужей, а кому и это: "...без вести пропал..."

Приносила и отдавала Николаю, как главному здесь по должности — председатель несуществующего колхоза, ибо тех, кому они адресовались, не было в живых...

Стопка таких разных сообщений собралась у него, на некоторые требовался ответ, и Николай отвечал, писал тем, кто был на фронте, об их родных и близких. Писал под общую диктовку сельчан, передавал от них "поклоны", сообщал, что односельчане с нетерпением ждут возвращения фронтовика...

Казенную бумагу о Ефимовых сыновьях Савелий никому не показывал. И это была его глущая тайна и тайна почтальонки, недавно получившей такую же бумагу на своего мужа. Савелий попросил ее молчать. Сказал, если что, все возьмет на себя. Объяснил, почему пошел на такое "преступление": надо, чтобы старик верил, что живы его сыновья, ждал. Знал Савелий,

что есть случаи, когда родные получали официальное сообщение — “пропал без вести”, а через некоторое время оказывалось — жив человек, воюет или в плену, а то и в своем лагере...

Говорил Савелий это и почталонке, чтобы и та не верила, что ее муж пропал без вести, и она, выслушав его, ответила:

— А я и не верю, но лучше было бы, чтобы и мою бумагу кто-нибудь перехватил...

Савелий хорошо знал Ефима как человека, уважаемого во всей округе. И сыновей его хорошо знал. Поэтому не хотел допускать мысли, что они, если остались живы, могли сдаться в плен, или того горше, оказаться предателями.

Верил, рано или поздно придет на них иное известие: живы, воюют, а может, и сами отзовутся, или, если в каком секретном деле, — соответствующие органы сообщат о них отцу то, что можно.

— Как же так? — вдруг спросил старик не столько у Савелия, сколько у самого себя. — Плен... Нет, в плен Ванюша с Никодимушкой пойти не могли. Разве что в несознании лежали. А чтобы провинились да в лагерь или в измену ушли, — нет... Я своих ребятишек лучше себя знаю, не такие они. В танкистах Ваня с Никодимом, сказывал же Михай. А танкисты — все время на передовой, вот и писать некогда. А ты говоришь, поезд... Какой еще поезд?

— Правильно говорил Михай, в танкисты их определили, — молвил Савелий, поняв, что сказанул не то. — Это я так, дядь Ефим, в общем обрисовал тебе, что может произойти на войне.

Я вот как рассуждаю: в районе их направили в танкисты. А до танкистов им еще нужно было ехать да ехать. Сперва в тыл. Там часть формировали. Не доехали. Эшелон разбомбили. Но их же, Ванюшу и Кодио, не нашли ни среди погибших, ни среди тех, кого после собрали в колонну... Что, побежали в панике куда глаза глядят?.. В лесу, километрах в десяти от того места, где разбомбили эшелон, тогда немецкий десант высадился. На него вышли и в плен сдались?.. Так они в изменниках не значатся. Изменники рано или поздно проявляют себя, враг с ними не церемонится, выставляет напоказ, чтобы назад дорогу закрыть.

— Да не могли мои сыны сдаться в плен! — уже закричал Ефим.

— Тихе, дядь Ефим, — попробовал успокоить его Савелий. — Оговорился я. Так сказать, все размышляю, что с ними могло случиться. Я же не говорил, что они могли сдаться в плен, или... Извини меня, запомнил, как тебя по батюшке, отчество твое как, дядь Ефим?

— Запомнил, говоришь... А у меня отродясь своего отчества не было. Не знал я ни матушки, ни батюшки, родивших меня. Люди иной раз Михайловичем кличут. Михайловичем, так Михайловичем... Если бы ты видел меня в молодости моей, то понял бы, что чужой я здесь, неизвестно откуда взявшийся. Местные люди — русые, а я темный... И глаза у меня темные были, пока не выгорели. Конечно, всякое было с людьми здешними, но они меня приняли, и сроднился я с ними, жизнь свою здесь доживаю, на этой земле. Судьбу свою здесь нашел, до этого много дорог прошагав. Помню я все те дороги, непростые они были, крутые, тяжкие, но одолел их, правда, не один и не сам по себе. Помню, как мальчишкой обездоленных людей по миру водил. Среди них был некто Михась, Михаил, значит. Он-то и подобрал меня сиротинку несмышленную в каких то краях, неизвестных мне... Немощные, слепые, хромые да безногие, а не дали мне сгинуть. И те, кто кусок хлебушка им подавал, выходит, и меня выхаживали. Так что мать и отец мне — хорошие люди. А их — вона сколько на земле! И Ванюшка с Кодиошкой это знали. Сызмальства учил я их этому. И на войну отправляя, об этом сказывал: идете людей защищать, землю свою от супостата спасать. И еще кой-какие слова говорил, может, уж очень крутые, но праведные, чтобы помнили, что к чему на земле да меж людей. Сам-то я, знаю, человек далеко не праведный, жесткий, а они праведными должны быть! Мать у них праведная была, мухи не обидела. У Ванюшки и Никодимушки все от нее, от меня — отцовство, ну и еще чуть-чуть в характерах. Так что, хоть и власть ты, Савельюшка, а такие слова мне говорить не смей!

— Да полно тебе, дядь Ефим! Коль глупость сказал, прости меня. При чем тут власть я или не власть? Говорю тебе который раз, размышляю... Время покажет, что и как. Только прошу тебя вот о чем, дядь Ефим. Вдруг придут, да не как демобилизованные, скажи чтобы сразу ко мне бежали. Разберемся. А то, не дай бог, какой службист ими займется. Сейчас с этим очень строго, да и дурусти полно: иной при больших погонах, а дурак дураком! Я сам таких повидал...

Катя, стоя в сарае с сонным сыночком на руках — дала ему грудь, он заснул, словно окаменела: Ефимовы сыновья — дезертиры?.. Да не может такого быть!

Слышали этот разговор и Михей с Николаем. Слышала и Надя. Они тоже были в сарае, в том его конце, где еще до паводка отбили уголки, смастерили в них полати.

Слышали и шлепки весел по воде. Слышали, как кто-то подошел к сараю, начал с Ефимом разговор. Вроде, и не касался он их, но выйти не посмели — мешать-то зачем? И вот, оказывается, кто прибыл — Савелий, участковый! И вот какой разговор повел — тяжелый...

А тем временем Савелий, видя, что Ефим будто обмяк, попытался, как умел, утешить старика:

— И я в твоих ребят верю, дядь Ефим. Правильные парни. Говорю же, мало ли что случается. Откроюсь, не одному тебе говорю все это. Вон, вместе с Ваней и Никодимом исчез Василий Кечик из Забродья. Помнишь такого?

— А как же, помню, — глухо произнес Ефим. — Хороший парень. Отец его, Леонтий Киреевич, до войны лесником был. В войну партизанил. Часто ко мне приходил. Через него я с отрядом связь держал. Мы с ним с войны не виделись. Как он там?

— Сейчас Киреевич совсем слаб. Почти не встает. Я и ему о сыне должен был так говорить, как тебе. Думаешь, мне это легко, не зная, что и как?

Ефим не ответил. Вновь некоторое время молчали. Потом Савелий, глубоко вздохнув, сказал:

— Собери-ка, дядь Ефим, всех, кто в наличии.

— Это как, в наличии?

— Тех, кто в деревне есть.

— Вона что...

Ефим уже собрался идти в сарай, как протяжно заскрипела дверь и на взгорок вышли Николай, Михей, Надежда, Катерина с сыночком на руках, Светка и Валик.

Савелий, увидев Катю с ребенком да Валика со Светкой, замахал руками:

— Катерина, назад иди! Малого смотри. И дети пусть идут.

Катя вернулась в сарай. За ней — Валик и Света.

Участковый долго пристально смотрел на Николая, Михея и Надежду. Наверное, хотел понять, слышали они его разговор с Ефимом или нет. Те, не дойдя несколько шагов до участкового, остановились, молча ждали, что будет дальше.

Савелий будто нехотя подошел к ним, сдержанно, хотя и за руку, поздоровался с мужчинами, Надежде кивнул головой: “Здрасьте”. Затем, ни к кому не обращаясь, спросил:

— Это все?

— Все, — ответил Николай и добавил: — Будто не знаешь.

— А Кучинский где?

— Кучинский? А кто знает? — ответил за Николая Ефим и неопределенно пожал плечами. — Исчез в паводок, и больше мы его не видели. Звали, не отзывался — здесь тогда такое было!.. Все вокруг кипело, трещало, сами чудом уцелели, не до Иосифа было. Может... — он умолк.

— О паводке знаю, — раздраженно сказал Савелий. — Знаю, что взорвалась дамба. Знаю, что был пожар, хоть я неделю отсутствовал — в район вызывали по делам. Но...

— Может... — повторил Ефим, не зная, что сказать дальше.

— Да брось ты это “может”! — Савелий вдруг изменился в лице: побавровел, глаза стали холодными. — Что это означает, “может”?.. Что, дом

Иосифа Кучинского сам сторел? И сам он исчез?.. Может!.. Вон в одной деревне, правда, не на моем участке, тоже исчез отец предателя. Органы ищут, а люди: “Может...”

— Мы его ни в войну, ни после даже пальцем не тронули, стороной обходили,— сказал Ефим. — Он сам по себе жил, мы сами по себе.

Савелий молчал. Его щеки нервно дергались. Вдруг он сорвался с места, начал быстро ходить перед сельчанами взад-вперед. Натоптав влажную тропку, остановился, тихо, будто размышляя, произнес:

— Хотя, может быть, и сам... — Он вновь умолк, словно собирался с мыслями, сказал: — А вы знаете, что Иосиф Кучинский перед властью ни в чем не виноват? Так что, если вдруг появится, — никакого самосуда! Иначе сами пойдете под суд, и я не спасу. Но если случится, кто иной из органов будет интересоваться, говорите правду, как сейчас мне: “Взорвалась дамба, все вокруг затопило, мы здесь спасение нашли, он в стороне от нас жил, может, смыло человека. А пожар — топилась печь, выпали угли...” Короче, вам все понятно?

— Конечно, понятно, — ответил за всех Николай. — Так и было. Мы его не видели.

— А лодка чья? — вдруг спросил Савелий. — Кажись, не Николаева, не Михеева и не твоя, дядь Ефим, а?

— Врать не буду, его, Кучинского, — сказал Ефим. — Принесло ее, прибилась...

— Принесло, прибилась, говоришь. Лучше было бы, чтобы она уплыла, и как можно дальше отсель. Пусть ее от вас унесет.

Сказав это, Савелий махнул рукой, повернулся, тяжело ступая по влажной земле, направился к своей лодке. Люди молча смотрели ему вслед: попробуй понять, навещал он их как участковый или как хорошо знакомый с довоенного времени человек. Говорил с ними вроде как с равными, но чувствовалось: служитель закона — власть...

Савелий удалялся, а в глубокие следы от его сапог сочилась рыжая муть...

Он подошел к лодке, достал из нее тяжелый деревянный ящик, поставил на землю, крикнул:

— Мужики! Здесь детям медок, дядь Кечик, Левонтий Киреевич, передал. У него в лесу колоды сохранились, я осмотрел их, взял прошлогодний. А солонину да еще кое-что люди собрали, узнав, что к вам плыву. Ну и консервы — мой паек. Так что держитесь пока, в беде не оставим.

— А почта есть? — спросил Николай.

— Почта? Нет пока, пишут. Заходил к почтальонке, как будет, приплывет, лодку дам.

Савелий отвязал свою лодку, оттолкнулся веслом от пня. Течение сразу же подхватило ее, понесло. Правя веслом, держа лодку под углом к течению, быстро вывел ее на фарватер реки. Там резко повернул, выровнял и, сидя спиной к людям, принялся грести изо всех сил.

Но, как заметили мужчины, для человека, выросшего возле воды, веслами орудовал неумело, махал ими, будто не замечая, не думая, что делает. Весла шумно шлепали по воде, поднимали брызги, и Савелий ни разу, пока не исчез за поворотом реки, так и не оглянулся на людей, стоявших на взгорке.

10

Все понимали, что Савелий не очень-то верит им. Считает, что они могли совершить самосуд над Иосифом Кучинскими, поджечь его дом. И лодку его забрали. Только зачем? Это же — улика. Ведь не зря советовал, чтобы уплыла...

— Если вдруг случится допрос какой, так вы не лезьте, — сказал Ефим мужчинам, когда уплыл Савелий. — Я последний, кто говорил с Иосифом, мне и ответ держать.

— За что? — возмутился Николай. — Да, было, приплыл сюда. Кричал: “Люди!..” Так что, целоваться с ним? Ты же не гнал его прочь, а если

что и сказал против, так он же не сумасшедший, чтобы из-за этого с головой в воду... А хоть бы и гнал, так бери, Иосиф, свою лодку и плыви куда хочешь. Много мест на земле, где тебя люди не знают. Так что, дядя Ефим, незачем изводить себя: “Я последний... буду отвечать...” Верно говорю?

— Может, оно и так. Но все же...

Старик пожал плечами. Конечно, думать можно по-разному. Но его никто не мог переубедить в том, что он виновен в гибели Иосифа Кучинского. Виноват. Именно после их разговора Иосиф оставил лодку возле взгорка и ушел прочь... Разговор хоть и короткий был, но нехороший, въедливый, с ненавистью.

Когда Иосиф подплыл, Ефим подсвечивал ему фонарем, спросил с насмешкой: “Откуда?..” — будто не знал, что из дома... Знал. Зачем тогда издевался: “Из дома, говоришь? Ну и что с того?”

Вот это “Ну и что?..”, наверное, и оттолкнуло Иосифа. Впрочем, он не сразу ушел, а некоторое время размышлял, что делать. Говорил, что еду привез, рожь, что хата его еще теплая, о детях заботился, о Кате... А они в ответ: “Да закройте вы дверь!” Но если в свою избу звал, так зачем еду привез? Не верил, что люди примут его, или боялся, что, пока они будут решать, как быть, его хату затопит вода, а то и снесет?..

Странно как-то... Впрочем, крестьянская душа: умирать собирайся, а жито сей... Может быть, хлеб на всякий случай взял?

А требование закрыть дверь — так из-за детишек, из-за Катерины. Ефим, когда увидел, что Иосиф плывет сюда, хотел крикнуть: “Прочь, дьявол, чтобы во веки веков люди не видели и не слышали тебя!..” Но сдержался, увидел в Иосифе хоть какого, но человека, которому тоже больно, как и тебе. Да только всего этого оказалось мало: одно дело увидеть, иное — сказать.

Ушел Иосиф. Кому сделал плохо? И себе, и тем, к кому плыл. И еще неизвестно, кому хуже...

Нет, завтра же Ефим на Иосифовой лодке поплывет к Савелию. Расскажет участковому все, как было. Почему сейчас не рассказал? Растерялся. О сыновьях больше думал. Горькое, страшное о них говорил Савелий, не надо бы так... Впрочем, все растерялись, никто не ожидал такого разговора с участковым. Что ни слово у него — гвоздь! И каждого словно к кресту приколачивал: за словами так и слышалось: преступник, преступник, преступник!..

А Ефима так даже дважды распял. Первый раз, когда размышлял, что в плен могли сдать, второй, когда предупредил, чтобы сыновья, если появятся в Гуде, сами к нему бежали. Значит, уверен Савелий, что они преступники. Значит, вообще не верит Ефиму. Как же так?..

...Тем временем Савелий, сидя спиной к людям, плыл в Забродье, но не напрямик — это километра три-четыре по залитым лугам, а по руслу реки.

Он нарочно делал круг. Нужно было побыть в одиночестве, чтобы все обдумать да разобраться в том, что случилось с гуднянцами. И как участковому, для которого сначала — закон, а потом все остальное... И как обычному человеку, для которого важнее всех писаных — неписаные, веками сложившиеся законы, по которым и живут люди. Законы эти нерушимые, ибо круто на совести замешены. И действие свое возымели еще с тех времен, когда законы никто не писал... Писанный закон — на страхе, на принуждении, а этот — на осмысленном действии. Хорошо, когда они совпадают. А если нет?.. Тогда и происходят человеческие трагедии. А здесь как?

Если по писаным, то он сам, мягко говоря, нарушитель: не имел права перехватывать да утаивать казенную бумагу, адресованную Ефиму Боровцу. Это документ. В нем, исходя из фактического материала, удостоверяется, что его сыновья “без вести пропали”. Но все же как “пропали?” Вот что для Савелия очень важно. У кого-то из сопровождающих офицеров были списки мобилизованных. В тех списках, естественно, значились и Ефимовы сыновья. Вскоре после того, как улетели немецкие самолеты, командирам удалось собрать оставшихся в живых и не убежавших неизвестно куда. Сверили списки: среди тех, кто был в наличии, — нет Боровцов. И среди убитых нет.

Так куда они делись? Домой бросились, а по дороге встретили немцев и сдались в плен?.. А если добрались до дома и прячутся в окрестных чащобах, да время от времени постреливают в машины, проезжающие по шоссе, а то и в местных жителей?..

Размышляя так, Савелий вдруг сосредоточился на мысли, посетившей его будто невзначай: как он может об этом думать, зная старика и его парней?! Выходит, совсем очерствел за войну, коль людям не верит. А верить надобно, иначе из человека в зверя превратишься. Это что касается Ивана и Никодима. Ладно, пока оставим их в покое, время должно расставить все на свои места, прояснить их судьбы. А вот как быть с Кучинским?..

Как бы там ни было, но на его, Савелия Космановича, участке трагедия: в паводок сгорела хата Иосифа Кучинского, сам бесследно исчез, а лодка обнаружилась у односельчан, которые относятся к нему как отцу врага...

Разговаривать с гудянцами было очень непросто: хорошо знакомые люди под подозрением в убийстве человека. Савелию, как участковому, нужно было принимать решение: составлять протокол о том, что при невыясненных обстоятельствах исчез гражданин Иосиф Кучинский, и доложить о случившемся в район или на свой риск попробовать самому во всем разобраться. Даже если люди и учинили самосуд, надо попытаться понять их.

По-человечески их очень жаль: доложишь — посадят. Но почему убили, утопили или еще что с ним сделали, если, конечно, это так?

Можно размышлять так: люди чудом остались в живых. Их родные и близкие погибли, и сын Кучинского виноват в их смерти. Такое из сознания людей ничем не вытравишь, оно будет в их душах столько, сколько жить им на земле. И вот подвернулся случай отомстить отцу за сына-полицая. А это — самосуд!

Самосуд, если давать происшествию правовую оценку. А если исходить из жизненных понятий, то произошел самый что ни есть народный суд...

Страшная, как говорится, нестыковка между этими понятиями: официальным и человеческим. Будто официальное не людьми определено, а кем-то, кто не жил среди них, кто не знает неписаных законов бытия. Он, Савелий, бывший фронтовик, с лихвой повидавший на войне человеческого горя, знает, что такое официальная и неофициальная справедливость. Может ли он сейчас, не раздумывая, не осмыслив случившегося, назвать этих несчастных людей преступниками?

Конечно, может...

Значит, Савелию, пока сойдет паводок, нужно самому разобраться, в чем правда и в чем неправда односельчан Иосифа Кучинского, — он в ответе перед властью и за них, и за него. И не надо спешить, поднимать шум, пока не найдут труп. А если не найдут, так еще надо подумать, как быть дальше.

Наверное, к решению не спешить Савелия подтолкнул собственный военный опыт. Он помнил, как когда-то зеленый, еще необстрелянный солдат, принимался не раздумывая исполнять приказы, из-за чего мог бессмысленно погибнуть. Но позже, побывав в страшных ситуациях, уяснил: приказ приказом, а надо самому думать, как его исполнить, чтобы зря не погибнуть и не подставить под пули товарищей. Решил так, действовал, исходя из этого, — и воевать стал смелее.

Воевал он хорошо, продумывая ситуацию, в которую мог попасть. Наверное, поэтому и остался в живых, не попал в плен, ни разу не выставил себя трусом. Под вражеским огнем, в самых разных боевых и небоевых ситуациях трусов он видел немало...

Всякое случалось на фронте, но при всем этом надо было остаться человеком, а это не каждому под силу... И сейчас, думая как быть с гудянцами, Савелий будто невзначай вспомнил случай, свидетелем которого был незадолго до того, как его ранило в Восточной Пруссии.

...Полковое командование включило его, тогда уже старшего сержанта*,

* История А. А. Пушина, одного из потомков рода Пушиных, давшего миру декабриста, друга А. С. Пушкина. Рассказана автору лично Алексеем Алексеевичем.

и еще нескольких бойцов в сопровождение: надо было проверить батальон связи, который состоял в основном из женщин. Батальоном командовал какой-то майор, говорили, из “бывших”, это значит из тех, кто до революции имел далеко не прелатарское происхождение.

Бойцам было известно, что майор очень ревностно оберегает своих подчиненных: на войне женская ласка не противопоказана ни рядовому, ни генералу, да и настоящей любви война — не препятствие.

Батальон связи располагался в имении старого немца. Начали с проверки постовых. Вошли в продуктовый склад, а там — невообразимое!.. У стены стоит винтовка, в проходе — старик-немец с окровавленной рукой, и его старательно перевязывает постовой — молоденькая девушка.

— Преступление! — заорал капитан НКВД, который был с группой проверяющих. — Под трибунал!

Все понимали, что преступление: оставлен пост. Знали, что значит трибунал. Знали, что постовой или постовая не имела права пропустить нарушителя на охраняемый объект: надо было задержать, если не подчиняется, сделать предупредительный выстрел, затем, если это не возымеет действия, — второй, но уже на поражение.

Еще никто не успел опомниться, как комбат, будто не слышал слов капитана из особого отдела, приказал своим бойцам:

— Арестовать немедленно! Отвести в землянку! — И, обращаясь к полковнику, сказал: — Разрешите, сам разберусь...

Полковник разрешил. Проигнорировал указание капитана из тех органов, а это было очень опасно для любого, невзирая на звание.

Капитан словно онемел от такой наглости командира батальона и командира полка, а через минуту выдал:

— Я должен немедленно доложить по команде...

Его вновь не “услышали”. Постового арестовали, увели. Старика-немца не трогали. А он, наблюдая за происходящим, понял, что может случиться с девушкой, упал на колени перед офицерами, заговорил, показывая окровавленную руку:

— Нихт!.. Нихт!.. Майн киндер эссен... Нихт расстреляйт... Их, их виноватэн...

Говорил, тряс окровавленной рукой, другой показывал на цементный пол, на котором лежали осколки от стеклянной банки с остатками каких-то продуктов.

Что он хотел сказать, было понятно и без переводчика: у старика детишки. Им нужно есть. Он пошел в склеп за продуктами, разбил банку... Зачем девушку расстреливать?..

Конечно, постового или постовую не расстреляли бы. Но под трибунал она попала бы, могла сгинуть в лагере, осужденная по всей строгости военного времени...

— Старика в санчасть! — приказал полковник. — Детишек накормить! Постового — в распоряжение комбата!..

Когда ехали назад, полковник остановил машину среди поля. Вышел, долго смотрел вокруг, о чем-то думая. Потом подозвал к себе бойцов, но не по уставу: “Сопровождение, ко мне!”, а так, как отец мог бы позвать своих детей: “Сынки, подойдите...”

Не подошли, подбежали, Савелий и еще трое бойцов. Капитан стоял в отдалении. С места не сдвинулся.

Савелий, как старший, должен был доложить: “По вашему приказанию...” Козырнул:

— Това...

Полковник остановил его:

— Сынки, знаете, почему нас не победить? Потому что у нас воины такие, как майор (он назвал фамилию), как эта девушка, — она добровольно пошла на фронт, дочь учителей, мне доложили, как вы, дети рабочих и крестьян. Майор же, знайте это (вновь назвал фамилию) из рода декабриста, друга Пушкина. И все мы — разных национальностей, но одной великой веры — в людей, в нас самих.

Капитан подошел без команды. Шел осторожно, будто ступая по заминированному полю. Подошел, попросил у полковника разрешения закурить. Закурили от одной спички...

Больше полковник ничего не говорил ни бойцам, ни капитану. И понял тогда старший сержант Савелий Косманович, что и майор, и полковник спасали девушку-постового от трибунала, от того законного суда, который не обещал ей ничего хорошего. Понимал, что и майор, и полковник за эту хрупкую девушку-бойца, добровольно ушедшую на войну, сами готовы были пойти под суд, только бы не сломалась ее судьба...

И еще понял Савелий, что большую ответственность за судьбы людей он берет на себя, и это может для него самого обернуться бедой. А пока он будет ждать, вдруг окажется, что Иосиф жив-здоров...

II

Семь лет минуло с того времени...

...А тогда, как только Савелий услышал, “проинструктиввав” сельчан, что нужно говорить, если кто будет спрашивать об Иосифе, Ефим совсем приуныл. Старика можно было понять: нет ничего определенного о его сыновьях, а время идет... Участковый говорит о них загадками: то ли погибли, то ли в плену, а может быть, и предатели. А напоследок еще это — считает, что гуднянцы прикончили Иосифа Кучинского.

Нет, рук они на Иосифа не поднимали. А Ефим вбил себе в голову: “Я виноват, что погиб Иосиф. А мы же некогда с ним дружили”. И никто не мог переубедить его, что это не так.

Наверное, чувство вины за друга, пусть и бывшего, особое. А что они в молодости дружили, знали все... Когда-то вместе агитировали односельчан вступать в колхоз, сами вступили первыми. Ефим состоял при лошадях, Иосиф — в поле.

Кроме этих дел было у них еще одно общее — плотничать да столярничать. Лошади лошадьми, поле полем, но находили время ставить сельчанам дома. Возведут строение — люди любят!..

А сошлись Ефим и Иосиф в молодые годы вроде случайно. На вечеринках. Один раз вместе покурили, другой, поговорили: кто ты, что ты, какие у тебя интересы, а вскоре уже — товарищи, потом — друзья.

Ефим чужой здесь, неизвестно какого рода-племени: родных не помнил. Пришел сюда в поисках работы с таким же, как и сам, товарищем, в сущности бродягой. Работа им нашлась: кому амбар подладить, кому — избу, а кому колодец выкопать. Товарищ вскоре дальше пошел — случайно встретились, скитаясь по земле, побыли вместе и разошлись — бывает.

Ефим же остался в Гуде, ему понравилась деревня: с одной стороны река, с другой — лес. Да и девушку тут встретил...

Остался, но первое время ему не на кого было опереться: местные парни к себе не брали, многим девочкам глянулся эдакий красавчик: темноволосый да темноглазый. Иосиф это видел, ему хотелось сблизиться с чужаком, мужчины, у которых он плотничал да столярничал, хвалили его — мастеровой.

Иосиф сам понемногу плотничал. Больше возле своей хаты, любил работать топором.

Иосиф тогда жил с мачехой и ее родными детишками и очень дорожил ею и сводными братиками и сестричкой. Чуть что — мама, мама, мама... Ефиму, не знавшему своей матери, сначала было удивительно и завидно: хорошая женщина, своих троих воспитывает и пасынка в люди вывела — Иосифов отец умер, когда сыну было десять лет.

Любила она Иосифа, как своего сына, а может, и больше. А он говорил Ефиму, когда случался какой заработок: “Мне маму и меньших надо поддерживать, тогда и жить веселей будет”.

И поддерживал, вел свое хозяйство, время от времени подрабатывал у тех, кто побогаче. Так и жили.

Когда мачеха узнала, что Иосифу нравится Текля, советовала не медлить, брать ее. А когда у него с Теклей разладилось, очень переживала...

Вскоре она умерла. Детей мачехи забрали родные из той деревни, откуда ее привез отец. В той деревне Иосиф никогда не был и навсегда потерял связь со своими сводными братьями и сестрой.

Помнил Ефим, как однажды Иосиф, рассказывая о мачехе, назвал ее святой женщиной...

...Случилось это, когда Иосиф был еще маленьким. Тогда, как это было заведено в крестьянских семьях, его, лет шести мальчугана, а может, и меньше, отец брал с собой на сенокос. Конечно, помощи от малого никакой, но пусть ребенок сызмальства привыкает к труду: может, где охапку свежескошенной травы растрясет, пласт поворошит или подаст старшим воды...

Бегал мальчик по лугу и вдруг наступил лапотком на что-то верткое.

Глянул под ногу, а оно поднимается, этакое красивое, черно-рыжее.

Закричал:

— Мама, цервяк! Смотри, какой большой.

Глянула мама-мачеха, недалеко было, тихо попросила:

— А мой сыночек, не трогай, стой, не ворошись, я сейчас...

Подбежала к пасынку, перехватила “цервяка”, не успел он вбросить яд в тело мальчика. Стала змею топтать ногами, давить лаптями, не обращая внимания, что на ее руке, выше запястья кровоточат четыре синие точки от ядовитых зубов: две вверху и две снизу.

Потом какая-то деревенская ведунья, она тоже была на лугу, беззубым ртом высасывала из руки мачехи яд, выплевывала его, а затем шептала на хлеб, заставляла ее есть его. Он стоял рядом испуганный, ничего не понимая. А мачеха ела хлеб, смотрела на пасынка и шептала:

— Все хорошо, родненький, все хорошо... Горький хлеб, горький...

— Это хорошо, что горький, помогает, — шепелявила старуха и тоже пристально смотрела на мальчика.

Но другая женщина (Вариончиха, его будущая теща, луг которой был рядом) смотрела на мачеху и осуждающе качала головой:

— Дура, из-за пасынка своих детей могла осиротить.

Другие женщины тоже осматривали его тельце. И тоже, как знахарка, они были готовы помочь мачехе чем только могли. А женщины не очень любили вдову из чужого края. За что ее было любить? Своих вдов хватает, а Митрий, его отец, чужую на телеге привез, да еще с тройным приплодом, когда одно под одно, мал мала меньше.

Все это вспомнилось Ефиму после того, как здесь, на взгорье, побывал участковый Савелий и пытался разобраться, что случилось с Иосифом.

Тогда что-то необъяснимое жгучей болью пронзило все его существо, словно разделило на две части сознание: он одновременно и жалел Иосифа, и ненавидел. И тяжело было ему выбрать что-то одно, точно определить, кто же для него Кучинский, да и для всех остальных.

Сейчас это воспоминание из детства бывшего друга всколыхнуло душу Ефима, вихрем ворвалось в нее. Еще бы: простые, темные деревенские женщины, в повседневной жизни не воспринимавшие мачеху Иосифа, как только случилась беда, спасали ее от смерти. И в этом порыве помочь ей были готовы на все. Выходит, что бы ни было меж людьми, а в нужный момент доброта все равно пробьется, как родниковая вода из-под хлама. И от самого человека зависит, сможет он помочь другому или нет...

На следующий день, как только начало светать, Ефим поплыл на Иосифовой лодке в Забродье. Спешил к участковому, чтобы рассказать ему всю правду об Иосифе да попросить Савелия, если, конечно, поверит, помочь разыскать Кучинского, живого или мертвого.

Поверил Ефиму Савелий. Сразу же собрал заброденских мужиков — три бывших партизана, два инвалида-фронтовика да Михаил Калистратов, это у него Иосиф как-то выменял за золотую монету царской чеканки мешок ржи, — вот и все, кто мог заняться поисками исчезнувшего человека.

Посадили их Савелий в лодки, сказал, чтобы поплавали по разливу, посмотрели под кустами, под кручами, вообще, где только можно — нет ли тела.

Михаил, пройдоха, в войну отиравшийся то возле немцев, то возле партизан, хотя в явном пособничестве врагу и не был замечен, Савелия боялся как огня. Узнав, кого будут искать, сказал:

— Может, он в своей избе сгорел. Там тоже нужно искать. Я как-то плыл, видел, нижние венцы, что были в воде, уцелели. Хата затоплена на метр-полтора. Пусти меня, Савелий, я все там осмотрю, дом его знаю, бывал. Со своими Иосиф не ладил, они к нему не ходили, дома его не знают. Да и в дугах мне будет тяжело, староват я, силушка уже не та, чтобы с вами, молодыми, тягаться, а вы поплавайте.

Михаил если и был староват — в войско после освобождения района не взяли по возрасту, но силушку еще не растратил — веслом как молодой правил. Савелий осадил его:

— Там мы и без тебя с дядей Ефимом управимся, а ты давай с мужиками — в дуга!

Михаил рассчитывал, что у Иосифа, кроме той монеты, которую он дал за мешок ржи, еще золотишко имелось. Но не вышло обхитрить участкового. Умолк, знал, с Савелием шутки плохи, только попробуй ему возразить, сразу приструнит. Так уже было. Как-то велел Савелий Михаилу вернуть колхозную лошадь, присвоенную им в начале войны, а он: “Савелий, лошадь-то моя!..”

— Знаю, какая она твоя, — сказал тогда участковый. — От людей ничего не спрячешь. А с тобой мы еще разберемся.

Пришлось вернуть...

Мужчины, получив приказ, поплыли на двух лодках к левому берегу реки, а Савелий с Ефимом направились в Гуду. Также на двух лодках: Ефим — в Иосифовой, Савелий — в своей. Ефим был уверен, что тела Иосифа на месте сгоревшей хаты быть не может: как он туда мог попасть, оставив тогда на взгорке лодку, — но молчал, а вдруг...

В Гуде, вернее, на островке, взяли с собой Михея. Николая оставили: ему с его деревяшкой в лодке сидеть неудобно. Да и при детишках и при женщинах кто-то должен быть.

Сначала подплыли к дому Кучинского. Венец, на котором лежал обугленный подоконник, чернел над водой. Конечно, в доме уцелел пол, сгореть он не мог, был в воде.

Заглянули внутрь: в обугленном четырехугольнике, оставшемся от дома, плавали угли, куски обгоревших досок. Уцелела печь, тоже черная, обгоревшая.

Поочередно, плавая вокруг дома, опускали в воду длинные весла, стучали по полу, исследуя его — нет ли тела. Впрочем, если бы было, так давно всплыло бы, знали это, но все же...

Убедившись, что нет трупа, отчалили. Ефим, когда плыли в дуга, вновь повторил, что Иосиф, когда загорелась хата, был на взгорке и плыть к ней не мог — лодку им оставил. Без нее поплыл? Такого не может быть: сумасшедший, что ли? Вода высокая, холодная, руки и ноги сведет и — поминай как звали!..

А пожар был страшный. Горела хата, искры от нее перебросились на крытый соломой сарай и дощатый навес. Все выгорело до самой воды.

С Ефимом согласились, поплыли к реке. Тщательно осмотрели этот берег, где утром, когда исчез Иосиф, обнаружили у воды следы босых ног. Затем не торопясь начали спускаться вниз по течению, останавливаясь у каждого куста. Искали целый день и заброденские мужики, и Савелий с Ефимом и Николаем. Искали, когда сошла большая вода, — нигде ни следа. За то время, что были вместе, Савелий несколько раз порывался отдать Ефиму бумагу, в которой сообщалось, что его сыновья, Никодим Боровец и Иван Боровец, без вести пропали, но так и не отважился. Сдерживал себя, хоть и боялся, что старик, устав ждать, пойдет в военкомат, тогда как? И однажды вечером Савелий сказал:

— Дядь Ефим, прошу тебя, пока я сам все до конца не выясню о Никодиме и Ване, ничего не предпринимай, никого не слушай, ни о чем никого не спрашивай, никуда не пиши. У меня одна зацепка есть, подсказывает

она, что твои ребята живы. Прости меня, но пока не могу ее открыть тебе. И дядю Кечика просить об этом буду — и с его сыном такая же история. Не хочу, чтобы кто мне мешал, со следа могу сбиться.

— Есть?! — оживился старик. — Коль надо для дела, не открывай, терпеть буду.

— Есть, верь мне и жди. Хорошо?

Ефим в знак согласия молча кивнул головой. Не знал он, даже не догадывался, что Савелий еще не определил для себя, как будет искать следы его сыновей. Сейчас Савелий думал об одном: как не лишить старика надежды? Лишишь, значит, заживо похоронишь Ефима.

12

...Иосиф за семь лет, как ушел из Гуды и до сегодняшнего дня, когда Катерина увидела его, вообще никого из знакомых, не то что бывших односельчан, не встречал.

На хуторе, конечно же, никто из них не мог появиться, разве что Ефим, это он когда-то рассказал ему о Кошаре, о ее хозяйне и как туда добраться.

Знал Иосиф, что однажды, когда началась коллективизация, а в Гуде уже был колхоз, Ефимова Марфа сказала мужу, чтобы тот спустился к Кошаре, посмотрел, что там и как. Время было неладное. В округе мужиков, которые не шли в колхозы, держались своего хозяйства, начали раскулачивать, ссылая в чужие земли. Ссылали семьями, детишек не щадили. Каково там, в Кошаре?.. “Может, пока все уладится, нужно забрать к себе Антоновых меньших ребятешек да внуков, а там как бог даст. Хотя вряд ли кто осмелится отобрать у нас чужих детишек, — рассуждала она. — Люди — не звери”.

Безусловно, об Антоне и его семье Ефим рассказал Марфе раньше, чем Иосифу, — от жены он ничего не утаивал, но больше никто в Гуде не знал о Кошаре и ее хозяйне.

И хотя к тому времени дружба между Ефимом и Иосифом постепенно угасала, Ефим на всякий случай (мало ли что может случиться с ним в дороге) поведал Иосифу, что поплывет туда.

Иосиф вызвался плыть с ним. Дорога неблизкая, вдвоем сподручней, но Ефим отказал ему, дескать, не надо, чтобы Антон знал, что еще кто-то, кроме его бывшего работника, знает о хуторе, тем более как туда добраться. Даже если Иосиф спрячется где-нибудь на берегу реки, Антон, провозжая детишек, обнаружит его. Зачем тревожить хозяина хутора?

Но Иосиф понимал, что совсем по иной причине Ефим не хочет брать его с собой. Помнил Ефим один случай из их давнишней дружбы, когда не помог Иосифу, а ему очень нужна была помощь. Может быть, в ином направлении пошла бы Иосифова жизнь...

Не помог потому, что Текля Ефиму не нравилась. Считал, что не для друга она. Какая-то ветренная, с Иосифом у нее любовь, а на вечерках танцует да заигрывает с другими парнями.

В конце концов догулялась до того, что женщины застали ее с Авдеем в снопах. Сраму-то!..

Иосифу тогда было невыносимо тяжело. Отвернулся он от Теклюшки, ходил как полоумный, не мог вынести такого предательства... А по деревне понеслось: “Текля с Авдеем в срам ушла...” И когда через некоторое время Ефим узнал, что Авдей поведет ее под венец, и сказал другу, что пойдет с ребятами по обычаю бросить свадьбе “зайца” — перегородить дорогу, Иосиф будто не услышал. Сказал это Иосиф Ефиму, надеясь, что тот поймет: пойдет, чтобы Теклюшку последний раз увидеть еще не чужой женой. Ефим понимал это, но не пошел с другом.

На горькое яблоко смолотили тогда Иосифа Авдеевы дружки, бросили окровавленного посреди дороги, и не сказал он тогда, униженный и оскорбленный, Теклюшке, поспешившей к нему, того одного слова, которое она ждала: “Останься...”

С того времени дружба между Иосифом и Ефимом дала трещину, словно лед на реке, и из той трещины сначала повеяло холодком, потом

дохнуло колючим холодом, и в конце концов — завьюжило лютой стужей. Никогда позже Иосиф не вспоминал о том случае Ефиму, не упрекал его.

Да и Ефим вел себя так, будто ничего не случилось...

Вот только непонятно было Иосифу, почему за много лет Ефим так и не сказал ему, что сожалеет о былом. Понял бы его Иосиф, утешил, снял бы тяжесть с его души, сказал бы, что нет у него обиды на друга: было да сплыло.

Да и тогда, когда Иосиф вызвался плыть с ним на хутор, мог бы Ефим взять его с собой. Дорога далекая, день по реке в один конец да день назад, вновь сошлись бы, поняли бы друг друга. Значит, не хотел...

И вот через много лет случилось так, что Антонов хутор напоследок Иосифовой жизни стал тем укромным местом, где он утаился от людей. Только надолго ли?.. Антона нашли, сняли с обжитого места, даже детишек не пожалели. Так что прячась не прячась, земля круглая, и хотя на ней множество дорог и дорожек, рано или поздно все они каким-то образом переплетаются. Значит, нет такого места на земле, где тебя не нашли бы. Найдут кому нужно. И свои дорожки протопчут к твоему укромному месту...

Говорил Ефим, что приплыл он к Кошаре без приключений. Спрятал лодку в камышах в затоке, пошел известным ему путем к хутору. Шел и видел, что трава на кочках, возле которых лежали припрятанные в болоте плахи, примята. Видел на ней следы от сапог к хутору и назад, а также следы от лаптей и лапотков, но уже к реке.

Сердце зашло от боли, когда никого не застал на хуторе. Длинная низкая Антонова изба встретила его забитыми крест-накрест окнами. И дверь была на защелке, а на ней какая-то печать на шнурках. Что на ней выбито, не разобрать.

В избу Ефим не пошел, побоялся срывать печать. Походил вокруг строений: ворота от гумна отброшены, в засеках пусто, и в кошаре — хоть шаром покати, а жерди загона поломаны...

Домой Ефим вернулся через двое суток. Говорил, что против течения плыть очень тяжело. Был он сам не свой, когда за деревней втайне рассказывал Иосифу о том, что видел на хуторе.

Посочувствовал тогда ему Иосиф и как упрекнул:

— Надо было вдвоем плыть.

— А, — неопределенно махнул рукой Ефим, — чем бы ты мне помог?

Конечно же, не хотел надолго оставаться наедине. А так, в деревне, пожалуйста: встретились, поговорили, разошлись. И никаких тебе воспоминаний о былом.

Порой, когда Иосиф уже обжился здесь, у него появлялась мысль, что когда-нибудь Ефим может приплыть на хутор. Нет, не в поисках его, а по какой своей надобности. Интересно, что они тогда скажут друг другу? И вообще, заговарят ли? Вряд ли, разве если оттают их обледеневшие души. Это на реке лед, придет время, обязательно растает, а на душе... Но сказать друг другу нужно было многое. И вообще, не только Ефиму мог бы многое о себе поведать Иосиф, обреченный судьбой на одиночество, но и Николаю, Михею, Надежде, а Катерине — больше чем кому.

Когда-то Иосиф думал, что придет время, встретит он Катю, одну или с ребенком, и обязательно скажет ей что-то такое, после чего она поймет, как ему все это время было тяжело на душе: его же сын убил ее мужа...

И вот неожиданно встретил ее с сыночком в городе на базаре. И что? Убежал, правда, попросив перед этим, чтобы не кричала, не пугала мальчика. А мальчик, успел заметить Иосиф, очень похож на Петра...

Не мог не убежать. Как бы он объяснил ей, почему просит подаяние, почему не хочет, чтобы именно сейчас она узнала его?

13

Иосиф, конечно же знал, что за время, прошедшее после его исчезновения из деревни, он очень сильно изменился, постарел. А вот душа осталась прежней. Она продолжала страдать от обиды на своих бывших односельчан.

И вместе с тем иногда, когда бывал в одиночестве, ему очень хотелось увидеть кого-то из односельчан. Правда, издали, чтобы самому остаться незамеченным, понаблюдать за ними, понять по выражению лица, как им сейчас живется.

Обида его на них со временем не исчезала, даже не притуплялась, по-прежнему жгла болью, а с болью можно жить только свыкнувшись с ней как с чем-то обязательным, от чего не так-то просто отмахнуться.

Чаще всего он думал о встрече с Катей. Встретиться с ней надобно бы лицом к лицу, лучше невзначай: узнают друг друга, это будет как ослепление молнией, помолчат с минуту, а потом он падет перед ней на колени, скажет: “Прости меня...” и больше ничего. И она простит, она добрая, он знает, чувствует это, и ему станет легче...

И вот неожиданная встреча: обожгла, еле сдержался, когда она закричала: “Дядя Иосиф!..” Он чуть не лишился чувств: подкосились ноги, пошатнулся, но устоял, до хруста сжав костыль, на который опирался. Катя закричала, и показалось, что в его выстуженную, опустевшую душу мгновенно ворвалось что-то пусть позабытое, но уж очень дорогое и близкое. Словами это высказать можно разве что так: в темной холодной ночи вдруг дохнуло теплом, озарило вспышкой света. Да, да, дохнуло тем ранним весенним теплом, озарило тем светом, что случается на исходе зимы, — вдруг на мгновение коснется тебя, взбодрит и тут же исчезнет, оставив волнующие воспоминания...

И сразу перед глазами промелькнула затопленная Гуда... Увидел согбенную фигуру Ефима на взгорке (тот, когда чем-то увлечен, горбился) — махал в темноте фонарем: не ему ли светил?.. Если ему, если знал, что он плывет, так зачем было светить, коль затем так жестоко поступил с ним?

Увиделась горящая хата, освещенный отблесками пожара клин бора... К нему, к бору, от взгорка плыл Иосиф. Плыл, как и прежде, на спине, время от времени приподнимая голову, и глядел в сторону сарая, где нашли спасение люди, и не видел там Кати — хотя как во тьме различить. Чувствовал, что нет ее на островке среди односельчан. Встревожился: где она?.. Если в Забродье успели отвезти, тогда слава Богу!.. А если... Нет глупость так думать, здесь она, здесь, с ними, иначе по деревне метались бы, кричали...

Все это, так давно бывшее, на мгновение представилось ему, промелькнуло перед глазами, и вот она, Катя, наяву перед ним, да не одна, а с сыночком, как две капли воды похожим на Петра...

Иосиф, взглянув на Катю с мальчиком, испугался: вдруг их увидят те, за кем он “охотится”, да подумают, что мать и ребенок родные ему. Тогда не миновать беды.

Кое-как уняв волнение, на ее крик: “Это ты, ты!..” ответил нарочито холодно: “Обознались, гражданочка” да “мальчика не пугайте...”

Сказал, будто между собой и нею возвел каменную стену, будто огородил их своеобразным берегом — чужие, незнакомые мне, не трогайте их...

Увидел, как Катерина после его слов будто увяла, а через мгновение, спохватившись, начала успокаивать сыночка. Иосиф быстро перекрестил их и, не дожидаясь, пока Катя вновь направится к нему, поспешил прочь — как можно дальше от них!

Взволнованный, испуганный, он как только мог быстро удалялся от базара, часто стуча костылем по булыжной мостовой, поглядывая по сторонам — не преследует ли кто. Поняв, что на улице никому нет до него дела — обычный нищий, каких много, пошел медленнее. И еще боялся Иосиф, что Катя опомнится и бросится вслед за ним, но и ее не было на улице.

Он отошел от базара на квартал, остановился только тогда, когда в конце улицы уперся в большой кирпичный дом. Посмотрел — какое-то важное учреждение, возле крыльца людно, по обеим сторонам улицы стоят легковые автомобили, а недалеко от них прохаживается милиционер.

Отдышавшись, Иосиф перешел на другую сторону улицы, остановился в тени старых лип, осматрелся: нет слежки. И неожиданно сам для себя еле не закричал: “Что же это я?.. Эх, Катя, Катя... Бери на руки малого да скорее беги прочь! Тот, кто присматривался ко мне, может пристать к тебе, чтобы выведать, кто я и откуда, да не связан ли с тобой, не тебе ли отдаю

деньги. И тебя напугает, и ребенка, такие люди ни перед чем не остановятся, если почувствуют свою выгоду”.

То, что за ним следит какой-то крепкий молодой мужик (а ему очень надо было, чтобы за ним следили, чтобы взяли, потащили к той, с которой он рано или поздно обязательно должен встретиться), Иосиф заметил сразу же, как только стал возле ворот...

Понял Иосиф, что напал на их след, ему и надо это. Он долго думал, как найти тех, что издевались над Теклюшкой. И однажды решил: прикинусь ничим, стану на ее место у базарных ворот, обязательно заметят его изверги, к себе потянут... И стал, протянул руку: “Подайте Христа ради...” Стыд сжигал Иосифа, кажется, каждый поданный грош душу насквозь прожигал...

Понял Иосиф, что “клонул” на него парень, как щука на наживку. Клонул, но сразу заглатывать не стал, ушел, не иначе, чтобы посоветоваться, как быть дальше с тем, кто самовольно стал, как говорила Теклюшка, на хлебное место. И в подтверждение, что “клонул”, через некоторое время парень вновь не торопясь прошел возле Иосифа, стал в отдалении и долго смотрел ему в лицо, наверное, чтобы хорошо запомнить. Иосиф сделал вид, что не замечает его, но и он запомнил: лоб широкий, на нем гвозди ровнять, глаза темные, зубы редкие, желтые, посреди, в верхнем ряду — вставной металлический.

Иосиф как ни в чем не бывало продолжал стоять, мужчина исчез. Понимал, к вечеру вернется, чтобы забрать то, что подадут за день, и может быть, поведет туда, где удерживали Теклюшку. Коли так, нужно продолжать просить подавание. Ничего, стыд он выдержит. Только бы никто из гуднянских мужиков не появился, поди, иногда на базар ездят. Могут узнать его. Да и сам Иосиф может себя выдать. Тогда все испортишь: побоятся изверги взять его...

Размышляя так, вдруг ужаснулся: о себе думаю, как же так?... До христа сжав костыль, сорвался с места и бросился к базару. Долгой, бесконечно долгой показалась ему эта, с полверсты, улица. А когда вошел в ворота, на базаре уже не было ни Кати с сынишкой, ни того парня. Подкосились ноги, словно обмяк, еле устоял, потом сорвался с места и бросился на улицу. Но уже в противоположную сторону, к частному сектору. Через него улица ведет к шоссе. Знал, Теклюшка говорила, что где-то в частном секторе ее держали взаперти. Утром отводили на базар просить подавание, вечером возвращали назад.

Задыхаясь пробежал пару кварталов, изнемогая от перенапряжения остановился: вон она, Катерина с сынишкой!.. Идет вниз по улице, направляется к шоссе. По походке, по спине, по одежде узнал, главное, по мальчонке: в коротких штанишках с одной помочью наискосок через спинку.

Катерина одной рукой держала сынишку за ручку, в другой руке у нее была корзинка. Шли быстро. Рядом с мальчиком, с другой стороны, держа его за ручку, шла девочка лет шестнадцати-семнадцати, возле нее — женщина. Так это же Надежда со Светкой!.. Вот какая она уже большая — невеста!

Иосиф спешил за ними, но близко не подходил: не надо, чтобы его видели. Шел и внимательно смотрел по сторонам, и не замечал ничего подозрительного: ходят люди туда-сюда, никто не обращает внимания на Катерину с Надеждой и их детей, и мужчины того не видно.

“Не приснилось же мне, — подумал Иосиф, — был, наблюдал за мной. Где он? Не успел вернуться? Миновали они то место, где удерживали Теклю, или нет?”

Если миновали, так, может быть, пока мужчина увидит, что их нет на базаре, они успеют уехать. А если тот двор впереди и он выйдет им навстречу — Иосиф защитит: костыль у него крепкий.

Но никто не преследовал женщин, и вскоре они вышли за город, направились к мосту через реку.

У последних домов Иосиф остановился. Дальше идти не было смысла. Во-первых, отсюда они еще долго будут видны, да и выдавать себя не надо. Во-вторых, если мужчина, что уже маловероятно, пойдет за ними, Иосиф увидит. А вот некоторое время побыть здесь надо. И чтобы понаблюдать за ними, и немного отдохнуть.

Размышляя так, почувствовал, что очень устал, переволновался. Осмотрелся — стоит возле невысокого заборчика палисада, к заборчику приставлена лавочка. За заборчиком — домик с двумя окнами на улицу.

Иосиф подошел к скамейке, осторожно сел, с трудом вытянул отекающую, тяжелую левую ногу — совсем омертвела, пусть отойдет, потом он решит, как быть дальше.

Подумал: был бы жив Архип, пошел бы к нему переночевать. Это не так уж и далеко отсюда, влево с версту, вдоль берега реки.

Есть здесь еще один знакомый у него — Григорий, Архипов друг. Нет, к тому не пойдет. Не сошлись сразу, когда познакомились, так разве сейчас сойдутся?

Отдохнет немного да пойдет (долго сидел, уже начало смеркаться). Конечно, к этому времени женщины с детишками уже уехали. Пока отдыхал, через мост прошло несколько машин, и не может быть, чтобы среди них не было попутной в сторону Гуды. А ему спешить некуда, да и незачем. Он найдет, где переждать ночь. Летом любой куст приютит, любая копка сена, стожок. О себе какая забота? Главное, что Катерина с сыночком и Надежда с дочерью не заночуют в дороге, сейчас они наверняка где то возле деревни или в деревне. Все у них как и должно быть: обязательно кто-то из мужчин встретит или уже встретил у дороги от шоссе к Гуде. Может, даже Ефим. А что? Он, должно быть, еще в силе, на своих ногах, обходится без костылей. Ефим хотя несколько старше Иосифа, но всегда был здоровее его.

Интересно, скажет ли Катя, что видела его, или нет?

Впрочем, если даже и скажет, так вряд ли Ефим поверит ей. Засомневается: не обозналась ли? Да и односельчане, наверное, уже давно забыли о нем. Наверняка тогда решили, что сгинул. Коль так — туда ему и дорога... Откуда им знать, что в ту ночь, когда разыгрался паводок, когда изгнали его с островка, он смог спастись? А то, что пережил тогда, не каждый молодой выдержит...

Иосиф сидел на лавочке до того времени, пока не начали сгущаться сумерки. Вокруг было тихо, на улице уже не было ни людей, ни машин.

В небе высypали первые звезды, в мягких редких облаках скользил бледно-желтый полумесяц луны. В домике не зажигали света.

Иосиф почувствовал, что тело начинает пощипывать холодок: старенький, тонкий пиджачок не согревал.

Он подвигал больной ногой — отпустило, можно идти.

Вновь подумал: где бы переночевать?.. Решил, заночует на дугу в стогу. Правда, там, в низине, где стоят стога, недалеко от реки, холоднее, чем в городе. Но это не пугало, дождется утра, не замерзнет. А как только начнет светать, пойдет на шоссе, остановит попутку, вернется на хутор. Пока не отойдет ягодная пора, из Кошары — ни шагу: женщины ездят продавать ягоды, попадаться им на глаза ни в коем случае нельзя! Все разладят. Хуже того, еще беду на себя накличат. А ближе к зиме, когда ни ягодников, ни грибников на базаре нет, вновь поедет в город. Придет на базар, станет на Теклюшкино место — он должен отомстить тем, кто издевался над ней...

Иосиф тяжело, словно нехотя, поднялся с лавки. Постоял, подождал, пока окрепнут ноги. Уже было решил двинуться дальше, как скрипнула калитка, со двора вышла женщина. Она тихо подошла к нему, остановилась в двух шагах и молча посмотрела в лицо.

Растерялся: не из банды ли?.. Неожиданно женщина сказала:

— Добрый вечер, дядюшка. Тебе, наверное, плохо?

Он не сразу понял, откровенно ли спрашивает, а когда понял, что откровенно, пересохшими губами ответил:

— Добрый вечер. Нет, это я так на вашу скамейку присел. Вы уж простите меня. Немного приустал. Не подумайте ничего плохого.

— А я и не думаю, — сказала женщина. — Я тебя через окно увидела. Думаю, откуда-то издалека, не наш. Наших всех знаю, город небольшой, а я здесь давно живу.

— Нет, не ваш, — признался Иосиф. — Но не так уж издалека. Всего вам хорошего.

Он собрался пойти, но женщина остановила его:

— Куда же против ночи? Пошли в дом. Переночуешь, а утром — ступай себе с богом. Я и котомку в дорогу соберу, есть с чего собрать: огородик свой, дочь с зятем работают.

— Нет, нет! — замахал он руками, и свободной, и той, в которой держал костыль, и упал бы, если бы она не поддержала его под локоть. — Какнибудь перебыюсь, не впервой.

— Перебится-то можно, — сказала женщина, осторожно отпуская его локоть. — Но стоит ли, если есть где переночевать? Ты, часом, не один живешь?

Иосиф молчал. Что ей сказать? Что один? Начнет расспрашивать, будет жалеть его. Не надо. Хотел соврать: “Почему же один? Есть хозяйка, и...” Не домыслил, что еще есть у него, не успел произнести слова, как женщина сказала:

— А ко мне внуки сейчас придут. Дочь приведет. Они с мужем работают в ночную смену, детишек не с кем оставить. Сядем разом за стол, поужинаем, поговорим. Может, какую сказку моим внукам расскажешь. У них своего дедушки нет, погиб, а младшенькая все дедушку спрашивает, все сказок ждет. Скажем, вот чей-то дедушка у нас в гостях, и малым будет радость. Только не подумай, что я из-за этого тебя приглашаю, негоже на ночь глядя отпускать человека неизвестно куда.

— Да какая ночь? Лето. Почему куда? Каждый куст... — Иосиф понял, что оговорился, попытался исправиться: — Меня попутка будет ждать. Знакомый шофер...

— Никакого знакомого шофера у тебя нет, — остановила его женщина.

— Ей-богу, есть! — Иосиф уже готов был разозлиться. — Как это нет? Да я с одним человеком только и езжу в город!

— Значит есть, — чуть заметно улыбнулась женщина, и ему показалось, что где-то давно-давно он видел похожую улыбку. Была она мягкая, излучала неподдельную доброту и тепло, он это хорошо видел при свете, падающем из окна, он ощущал это...

— Ну что ж, смотри сам.

Она смолкла. Молчал и Иосиф. Наверное, если бы женщина не сказала о внуках, он, может быть, и согласился бы пойти к ней в дом, и о знакомом шофере не говорил бы. Конечно, она поняла, что он хотел похвастаться — не один! Она чувствовала, что одинок и стесняется этого.

О детишках сказала... Представил, какой необычный для него дух человеческого жилья обитает в этом домике. Представил, как там тепло и уютно, и ему стало завидно: его дом никогда не знал этого. Когда Стас был маленьким, никто из одногродков не приходил к нему играть, боялись Марии, не очень приветливой к чужим детям. И вообще Иосиф уже давно забыл, каков он, дух обычного человеческого жилья. Известно, сейчас жил в чужом доме, оставленном хозяином и хозяйкой, их детьми и внуками, — не по своей воле шли в ссылку. А какой может быть дух от обид, горьких слез, от понимания, что вряд ли когда вернешься к родному порогу, когда неизвестно, выживешь ли там, куда принужден ехать? И когда, случалось, Иосиф задумывался о судьбе хозяина Кошары, о котором однажды услышал от Ефима, ему казалось, что слышит в хате детский плач. И это не тот плач, когда дети плачут, обиженные отцом или матерью, — поплачут да успокоятся, через минуту забыв свои обиды. Этот был жуткий плач: дети видели, что обижают их родителей (а родители для них — все, что связано с понятием жизни), — что же будет...

“Много хорошего видел Антонова хата, — думал Иосиф, — не может быть плохим человеческое жилье, если в нем — дети”. И все это хорошее принадлежало Антоновой семье. А он пришел незванный, переступил чужой порог и остался там. Так что же он скажет хозяину, если вдруг вернется?

Иосиф об этом рассуждал часто и ничего не мог придумать. Действительно, что он скажет, кроме одного: “Прости меня, человек, за самовольство, но если бы не твоя хата, наверное, меня давно бы уже не было. Она приняла меня, спасла от холода, а земля, которую ты полил своим потом, не дала

пухнуть с голоду. Спасибо тебе, твоей хате, твоей земле! Не порушил я ни твоей хаты, ни твоей земли и духа очага твоего не осквернил... Не тронул ни полатей, на которых спали ты и твои семейные, не взял ничего из одежды, которая осталась от тебя, — все сам добыл и полати сам себе сладил в сенах. Правда, печь твою протапливал, ибо если хата долго не отапливается, не чувствует человека, она умирает”.

Думал, если хозяин скажет, чтобы уходил прочь, уйдет. И даже если скажет, чтобы оставался, все равно уйдет — не надо мешать людям жить в своем доме, своею жизнью...

Уйдет куда подальше. Где-нибудь на высоком берегу выроет землянку и будет жить в ней столько, сколько отпущено свыше. А когда поймет, что близок его последний час, выйдет, выползет из землянки — пусть зимой, пусть летом, — ляжет лицом к небу и будет ждать своего последнего мгновения на этой земле, на которой столько страдал...

Иосиф еще раз поблагодарил женщину, сказал, что пойдет к шоссе и поедет домой. Дескать, уж если не получится уехать, тогда вернется, здесь недалеко.

— Смотри сам, — сказала она, — но хоть зайди поужинать.

— Спасибо, я уже ужинал, — соврал он.

— Какой-то ты уж больно стеснительный, — сказала женщина. — Ну что же, иди, легкого тебе пути. Только если что — возвращайся. Сени я не буду закрывать, дом тоже, подожду, как придешь, встречу.

Иосиф пошел за город. Не мог он зайти в дом. Не хотел будоражить душу таким желанным духом человеческого очага, тем духом, который, кажется, чувствовал и знал только в детстве. Было это в ту пору, когда жил в отцовском доме, когда там хозяйничала добрая мачеха-мама...

Он шел за город по пустой улице, слабо освещенной лунным светом. Шел и время от времени оступался, но не падал, шел дальше, и горькой казалась ему легкая вечерняя пыль, поднимающаяся из-под ног. И еще долго слышался ему голос этой женщины, наверное, ненамного моложе его, хорошей и откровенной, заботливой. Он пытался вспомнить лицо мачехи-мамы и никак не мог вспомнить конкретных его черт — просто чувствовал доброту, излучавшуюся из воображаемого им какого-то еле уловимого женского образа. И казалось ему, что голосом женщины, с которой только что расстался, с ним говорила его мачеха-мама...

Он шел, а женщина стояла возле своего дома и смотрела ему вслед до тех пор, пока его фигура не исчезла во тьме. Она знала, сердцем чувствовала, что этот человек не вернется, что он соврал ей, говоря, что не одинокий, чувствовала, что никому не нужен. Знала, что соврать ему было легче, чем признаться в том, какой есть. Понимала, что долгое одиночество забирает у людей право кому-то мешать...

...Не знала она, что это был ее сводный брат. Не знал он, что эта женщина, напомнившая ему мачеху, была ее дочерью, его сводной сестрой...

14

Как и полагал Иосиф, ночь он провел в стоге сена на лугу возле реки. Вернее, под стогом. Стога здесь, на заливных лугах, стояли высокие. Прежде чем сметать стог, мужики клали основу — несколько венков из прочных жердей, потом из досок делали площадку. Сооружение было высокое, прочное, на него и метали сено, делая стог. Сено снизу не замокало, не гнило, под стогом всегда было свежо, но сухо.

Иосиф с трудом забрался под стог, лег на спину. Снизу осторожно, чтобы не портить стог, натаскал из щелей между досок сена, подложил под себя, и хотя был очень уставшим, до утра так и не сомкнул глаз.

Лежал в относительно тепле, но холодноватый ветерок все же забирался сюда, и он с нетерпением ждал утра, чтобы, как начнет светать, пойти на шоссе. Ему бы только поскорее добраться до хутора, уединиться там. Успокоиться — уж очень переволновался, когда встретил Катю с сыночком. Да и в город пока не надо ехать. Показал тем, кто удерживал Теклю и кто

на ней зарабатывал, что есть нищий, который сам по себе, ни от кого не зависит, и исчез на некоторое время. А потом осенью, ближе к зиме, вновь появится на базаре, станет на Теклюшкино место и будет стоять там до тех пор, пока они не потащат его к себе. Вот тогда он и найдёт возможность отомстить им за нее, но еще не знал как. Хотя Текля, рассказав о том, как они издевались над ней, просила, чтобы не мстил. Говорила, как всегда говорят люди, прошедшие через страдания: “Бог им судья. Воздастся им”.

Говорить можно. Только воздастся ли? Да и когда? И кто накажет негодяев? Можно ли их простить?.. Они же действуют так, чтобы их не разоблачили. Так что, пусть и дальше издеваются над беззащитными людьми?

Тогда он не сказал это Теклюшке. Вообще ничего ей не ответил, будто не услышал. Затаился, все вглубь себя упрятал. Подумал, боится она за него. Что он против силы? Раздавят, как муху. Но покончить с ними надо. И сделает это он... Опять же не представлял как. Подождет их гнездо?.. Набросится на них с костью?.. Или еще что?..

А как же Текля, если они его прикончат?.. Он даже на минуту не мог оставить ее одну. И как быть? Ответа не было. Но должен же быть!..

Хотя и не говорил Теклюшке о задуманном, но она каким-то своим женским чутьем понимала, что его что-то гнетет. Иногда говорила: “Смотри, Иосифка, умру, в город не иди. В Гуду возвращайся. Не распнут тебя там. В чем ты виноват перед людьми?.. Если не примут, в стороне от них будешь жить, но на своей земле. Без своей земли жить тяжело, по себе знаю. Может, изба твоя уцелела, а нет — так курень какой сладишь”.

— Не говори так, — просил он ее. — Не думай об этом. Нам бы вместе туда пойти, да нельзя. От людей не спрячешься, вдруг кто выдаст тебя...

А думать, безусловно, нужно было. Ведь рано или поздно, а кто-то первым умрет. Как тогда другому быть?..

И случилось, не стало Текли. Похоронил ее. Здесь же, на хуторе... Только не вернется он в деревню. Здесь, возле нее будет... А вот в город еще ходит. Жить там он не собирается, не любит он город. Пожив зимой сорок третьего в городе, поработав там, много чего нехорошего видел. Да и после, как освоился на хуторе, когда изредка приплывал в город, — тоже. Не любил, а понимал, что без города вряд ли выжил бы. Одежду, соль, спички, керосин да что из продуктов можно было добыть только там. Но чтобы все это иметь, нужны деньги или что-то на обмен.

Денег у него не было. Но их можно было заработать, продав рыбу, грибы, орехи, заячьи шкурки, а то и зайчатину. И если грибы и орехи он собирал, а рыбу ловил, ставя верши, так на зайцев еще в первый год своей жизни здесь наделал петель — проволока на селище была.

Раньше в город Иосиф добирался на челне. Он сам его смастерил, в кладовой хозяина был инструмент, без которого крестьянину и полесовщику нельзя. Инструмент, когда раскулачивали, Антон почему-то оставил: то ли не позволили взять его с собой, то ли он сам не взял — с металлом в далекой дороге тяжело. А может, надеялся на скорое возвращение, как знать.

Тогда, добравшись сюда пешком (Иосиф запомнил, что Ефим говорил о хозяине хутора, знал, как туда попасть и как того зовут — Антон), осмотрел оставленную осиротевшую усадьбу и строения. За годы без хозяина постройки обветшали, земля пришла в запустение. Стал потихоньку обживать.

А начал с того, что осторожно, неизвестно кого опасаясь, с осунувшейся, почерневшей и поросшей снизу мхом двери в сени сорвал какой-то истлевший шнурок. Затем нажал на заржавевший язычок защелки, толкнул дверь. Пронзительно скрипнув, она легко поддалась — из темных сеней пахло нежилым, прелью.

Иосиф постоял у порога, раздумывая, входить или нет, потом решительно широко распахнул дверь, в сени упала полоса солнечного света, в ней задрожал шлейф пыли.

Не торопясь вошел в сени, дверь в избу была открыта. По проседающим под ногами доскам подошел к ней, заглянул в избу и отпрянул — на сером полу были опрокинуты два длинных черных креста: тень от досок с заколоченных окон.

Нелегко было Иосифу войти в дом. Когда вошел, понял, что не станет срывать доски с окон, не сможет жить в избе, остановится в сених, а в дом будет заходить только чтобы протопить печь. Понял, что не для него чужое жилье, кресты должен снять тот, кто приколачивал их на окна — хозяин. А что доски приколачивал он, Иосиф не сомневался: в Забродье, в Дубосне, в иных деревнях вокруг Гуды окна заколачивали сами хозяева, те, кого раскулачивали. (В Гуде раскулачивать не было кого, люди жили беднее, земли не ахти какие, да и деревня небольшая).

Живя на хуторе, ничего хозяйского не брал. А вот инструментом пользовался, без него не обойтись. Да и инструмент любит, когда к нему прикасаются руки.

В первый же день, осмотрев сени, нашел дверь в боковушку, а там — несколько топоров, пилу, множество стамесок, рубанки, напильники, ножи — все из хорошей стали.

Переночевал на широкой лаве в сених. На следующий день сладил в них полати: под навесом нашлись почерневшие доски. Поправил ворота в кошару, в сарай, в амбар. Потом направился к роднику на меже между лесом и полем: заметил его, когда шел сюда. Очистил родник от опавшей листвы, осевшей в него за много лет, — зазвенела, побежала к реке прозрачная холодная вода. Сначала — извилистым шнурком, потом прямее, ручейком.

На берегу Дубосны свалил хорошую осину. Долго, почти месяц мастерил долбленку. Получилась легкая, большая, кошны сена на ней можно возить, дно широкое... И конечно же, силел верши, без них возле реки никак нельзя. Сначала жил и ждал, что не сегодня завтра возвратится хозяин или кто чужой нагрянет на хутор. Но время шло, на хуторе никто не появлялся. Было даже удивительно: неужели о Кошаре никто не знает? Да такого не может быть. Есть же лесники, власть. Когда нужно было согнать человека и его семью с обжитого гнезда, так нашли сюда дорогу. Получается, сейчас никому нет дела до этого места в лесной глуши. Но долго ли так будет? А пока Иосиф жил, и никто ему не мешал. Но в его одинокой жизни довольно быстро появилось нечто особенно щемящее, что вскоре начало пугать: а как же быть без человеческой речи, без людского говора?.. Иногда казалось, пройдет еще немного времени, и он, вдали от людей, в глухом одиночестве сам лишится дара речи. Вот смотрит на лес, на реку, на камыш, знает, что это такое, но прежде чем произнести эти слова, долго думает, как их назвать... А вокруг столько самых разных неповторимых звуков — от изменчивого шума леса, птичьего гомона, всплесков воды в крутых берегах до шепота сухой травы и скрипа старого дерева, но человеческого голоса не слышно — пусто без него и невыносимо одиноко.

И в Гуде он был один. Но время от времени слышал человеческую речь, пусть даже прячась за оконной шторой, наблюдая за односельчанами. Волновали его их голоса, он с завистью наблюдал, как Ефим, Николай и Михай возят бревна Кате на сруб, при этом шумят, спорят, потом спокойно разговаривают о своем — живут, как и должны жить люди.

Слышал и как говорят женщины — спокойно, негромко, иногда озабоченно... Слышал и детские голоса — звонкие, веселые, радостные, несмотря на то, что живется им несытно, не очень хорошо.

Слышал голоса людей и в городе, когда работал там, слышал, говорил с кем-нибудь. И никогда раньше не задумывался, что значит слышать человеческую речь, что значит разговаривать с людьми.

А здесь будто оборвана та невидимая нить, что соединяла его с людьми. И обрывки той нити незаметно сплывли, растаяли, не оставив следа, разве что — мысли о людях, воспоминания о них... И каждый раз эти воспоминания, если касались деревни, все больше и больше угнетали его — нет никакой связи с тем, без чего человеку нельзя жить на земле, — связи с людьми.

Понимал Иосиф, что один не выживет. Несмотря даже на то, что у него есть крыша над головой, жилье, еда. Пока ходит по земле, пока стоит на своих ногах, сможет сам согреть место, в котором обитает, пищу добыть сможет. А вот без связи с людьми, прежде всего через речь, пусть через единственное слово, вряд ли выдержишь — усохнешь под тяжестью мыслей о своем былом и настоящем.

Он это знал. Знал, чего иной раз стоит даже одно слово, которого от тебя кто-то ждет, а ты так и не произнесешь его, — судьбы. А если точно, его и ее, Теклюшкиной судьбы.

Своя судьба — так это и есть своя. Она как на ладони. Неподвластна она тебе: смирись с ней, живи, как живется. И он смирился. А вот о ее судьбе ему до сих пор ничего не было известно. Хотя иногда казалось, что Теклюшка, будто бесплотный дух, постоянно возле него. Он идет куда-то, она рядом, не отстает от него ни на шаг. Смотрит на него, и он понимает, что хочет спросить: “Почему же ты, Иосифка, когда просила, не сказал одного слова — останься? Неужто оно такое тяжелое, что произнести не смог? Сказал — осталась бы я с тобой и ничего того, что случилось, не было бы ни в твоей, ни в моей жизни...”

Вообще-то, в городе Иосиф бывал раз пять-шесть в году. И только в теплую пору года, с наступлением лета до наступления осени. И всегда основательно готовился к поездке — с пустыми руками там нечего делать. Поэтому отправлялся в дорогу только тогда, когда было что продать-обменять — весомый мешок свежей рыбы, переложенной крапивой, несколько вязанок сушеных белых грибов, с ведро орехов да еще две-три заячьи шкурки.

Затемно все это переносил в челн, который прятал в затоке. А как только начинало светать, тихо выплывал на стержень Дубосны, пускал свое легкое суденышко по течению, время от времени слегка правя веслом. На дне челна лежал шест. Им он работал, когда плыл против течения назад. Плыть же по течению, Дубосна река быстрая, одно удовольствие. Все забывается: только река и ты. Обычно такой порой над ней клубился легкий туман. Пронзая его, на воду лились золотые солнечные лучи. В траве, в кустах, в лесу слышались птичьи голоса. Прибрежные деревья, а это в основном березы, осины, дубы, изредка сосны, молча смотрелись в воду, сопровождая Иосифа почти до самого пригорода — верст двадцать, если не больше.

Так вышло, что Иосифу повезло сразу же, как приплыл в город. Там он неожиданно сошелся с одним местным мужчиной примерно его возраста. Домик того стоял недалеко от реки, огород спускался почти к самой воде.

Тогда, выплыв из леса к лугу (река разрезала его на две части, большую слева, дальше от города, меньшую — к городу), Иосиф издали внимательно рассматривал правый берег, выбирая место, где можно было бы причалить.

Известно, челн нужно оставить там, где местные мужики привязывают свои лодки. Существует неписаное правило меж их хозяевами — свое не отдавай, но и чужое не бери. Правило это Иосиф знал. Оно всюду одинаковое. Поэтому, как только заметил плес, а на нем с десятков лодок и лодочнок, направил туда свое суденышко. Под старой большой ольхой, росшей возле воды, нашел для него место. Подплыл к дереву, слева виден песок, справа темно, не иначе яма. Вылез из долбленки на мель — воробью по колено, втащил челн повыше на песок. Пока привязывал его к ольхе, не заметил, как к нему подошел мужчина.

— На базар? — спросил тот, увидев в челне поклажу.

От неожиданности Иосиф ответил не сразу. Голос будто оглушил: к нему обращался человек! О, сколько времени Иосиф не слышал человеческой речи!.. Обычной, разговорной, спокойной, рассудительной, когда кто-то просто говорит о жизни. Последний раз человеческий голос Иосиф слышал в паводок, приплыв на взгорок, но тогда в нем слышалось уничтожающее его: “...Ну, ну...” А здесь...

Прежде чем ответить, Иосиф мучительно начал подбирать слова, а они будто стерлись из памяти. Сначала, как принято, хотел поприветствовать незнакомца: “Добрый день”, а потом уже сказать, почему приехал, но только прохрипел: — Да-а...

— Охрип, простудился, что ли?

— Не-ет...

— Почему такой неразговорчивый?

— А так... Что-то запершило, — Иосиф нарочно прокашлялся.

— Откуда?

— Издалека, — уклонился он от прямого ответа и показал рукой в лес. Произнес одно слово, но почувствовал, что оно будто выкатилось изнутри, значит, еще не разучился говорить.

— А что ты хочешь продать? — спросил мужчина.

— Смотри, — Иосиф снял дерюжку с поклажи, лежавшей на дне челна.

— Н-да, неходовой товарец, — сказал мужчина и продолжил: — Рыбы на базаре и без твоей хватает, река рядом. И все остальное тоже есть. Боюсь, что наторгуешь мало, если вообще кто что у тебя купит. Разве что за бесценок, говорю тебе правду, знаю. Я же здешний. Вон мой дом на взгорке (показал на небольшой деревянный домик, от которого вниз к реке спустился длинный узкий огород). А на базар я хожу каждый день. До войны в лавке торговал. Люди приходят, одному это дай, другому то, третьему еще что... И даешь, если нет — достанешь, и человеку приятно, и тебе.

— Как же мне быть? — Иосиф озабоченно почесал затылок.

— Что ж ты так сразу и испугался? — удивился мужчина. — Как быть... Если хочешь, возьму твой товар. Конечно, на тебе не разбогатею, да и не хочу. Внукам отнесу, а что и на базар. Хотя орех твой, наверное, прощлогодний, усохший, а боровик источен. Да и шкурки...

— Но, — растерялся Иосиф, — а я думал...

— Не расстраивайся. Как тебя зовут?

— Антон, — растерянно ответил Иосиф, впервые назвавшись именем хозяина хутора. Почему он так сделал, и сам не мог бы объяснить: назвал-ся и все. (Позже понял — Иосифа уже нет...)

— А я Архип, — сказал мужчина и подал Иосифу руку. Для человека такого возраста рука была еще довольно крепкая. Иосиф осторожно пожал ее. Он уже и не помнил, кто и когда подавал ему руку. — Ну вот и познакомились, — продолжал мужчина. — Так вот, Антон, видел я, как ты веслом правил. Ловко! На реке вырос?

— На реке.

— Города не знаешь?

— Нет.

— Тогда и не ходи туда. Со мной дело имей, не пропадешь. И мне легче будет. А то...

Он умолк, наверное, понял, что сказал лишнее.

— А что такое? Почему тогда тебе будет легче? — спросил Иосиф, буд-то давно знал Архипа.

— Почему... — вздохнул тот. — И дом есть, и дома не живу.

— Поссорился со своими?

— Если бы только так... Но не будем про это. А ты мне чем-то понравился. Вижу, поладим.

— Почему бы и нет? — сказал Иосиф и поймал себя на мысли, что уже нормально разговаривает, будто не было столько времени молчаливого одиночества. Торговать он не умел, обрадовался, что встретил человека, который согласен забрать его товар.

— Говори, что тебе дать за твое добро, — предложил мужчина.

Иосиф сказал: немного соли, какой-нибудь крупы, спичек, если есть — хлебушка хотя бы с полбуханки.

— Дам, — сказал мужчина и добавил: — Пошли со мной.

Взяли все, что привез Иосиф. Вышли на узкий лужок, усыпанный цветущей душицей, или как называли в Гуде, материнкой. По лужку, по извилистой тропке, ведущей от лодочной пристани к улице, дошли до небольшой деревянной бани. Иосифа удивило, что Архип повел не к дому, а к бане, стоящей у самой воды на высоком берегу в десятке метров от огорода.

— Здесь я и живу, — объяснил Архип. — А в доме (показал рукой вверх) пусть молодые живут.

Он открыл дверь, пригнулся, шагнул в предбанник. Иосиф вошел следом.

Предбанник был тесный. Слева от двери возле маленького окошка стоял узкий откидной столик, накрытый белой домотканой скатертью. На столике в стеклянной баночке красовался букетик лилово-розовых матердушек.

Архип заметил, что Иосиф недоуменно посмотрел на цветы, усмехнулся:

— Внучка приносит. Я ей как-то сказал, что там, где я родился, эти цветы называют матердушками, так ей запало в душу. Говорит: “Деда, как красиво — мамина душа”. Вишь, у самой душа-то еще махонькая (Архип осторожно сжал ладонь, словно там находилось что-то живое), а сколь много вобрала в себя... — Глянул на букетик, продолжил: — Конечно, красивые цветы. Вот, стоят...

— У нас их чаще зовут материнками. Хотя и матердушками тоже, — сказал Иосиф. — Красиво-то как...

— Красиво, — улыбнулся Архип. — Мои родители приехали сюда, когда я еще ребенком был. Здесь же и дом ставили, сейчас он мой. Я смутно помню наше прежнее место, но луг у реки да матердушки на нем — всегда перед глазами. Места-то похожие.

Архип умолк. Молчал и Иосиф, осматривая предбанник. Под столик был задвинут табурет. Справа от двери стояли большие и малые картонные коробки — вот и все, что было в предбаннике. Иосиф понял, что в этих коробках Архип держал все свое богатство...

Отплывал Иосиф примерно через час. За это время они с Архипом познакомились ближе. Даже вместе перекусили. Но не в предбаннике, а на берегу, в тени под ольхой.

Иосиф впервые с того времени, как вернулся из города, ел настоящий хлеб. Долго жевал, незаметно для себя посасывая, будто вытягивал сок, смаковал... Архип это заметил и, провожая его, вдобавок к десятку коробок спичек, увесистому узелку соли, ладному фунтику крупы, бруску сала и буханке хлеба подал нарезанные и несъеденные ломти.

Иосиф взял.

Договорились, что он будет приплывать к Архипу когда захочет. Обычно Архип, если не на базаре, впрочем, там он долго не задерживается, здесь, в своей баньке. И если Антон (Иосиф) не застанет его, то пусть заходит, отдохнет, дверь закрывается только на палочку, вставленную в пробой.

Когда Иосиф сел в свое суденышко и попросил Архипа оттолкнуть его от берега, тот как-то странно засмеялся:

— Сам!.. Силенки, что ли, нет? Я воды боюсь и плавать не умею. А ты, когда причаливал к берегу, не заметил справа от себя яму? Или случайно не угодил в нее? Вон она, воду покручивает, — показал он рукой под берег.

— Заметил, — сказал Иосиф, глянув туда, куда указывал Архип. — Я слева сходил, там мель. Ну что ж, коли так, тогда я сам, — и, взяв шест, оттолкнулся от берега.

Назад плыл против течения. Все время орудовал шестом. Держался ближе к берегу, там, где течения почти нет или очень слабое.

Когда плыл в город, реку хорошо запомнил. Помнил, где в нее упало дерево, где топляки, где глубоко, а где совсем мелко. Препятствия обходил легко и к вечеру был уже возле хутора. Там спрятал челнок в камышах в затоке, где прятал всегда, и еще почти засветло по плахам, лежащим в болоте, вышел на сухое, утомленный, присел на меже.

Была пора вечерней тишины. Дневные птицы смолкли, а ночные еще не подавали голосов. Казалось, воздух можно было потрогать руками, как что-то осязаемое, кристальное, одновременно и золотистое, и синее, еще теплое, но уже начинающее остывать.

Отсюда, из межи меж лесом и длинной, узкой, поросшей травой полосой, когда-то бывшей полем, была видна хата. Приземистая, черная, будто обгоревшая, с прогнувшейся дощатой крышей и заколоченными крест-накрест окнами, сейчас она казалась живым существом, ожидающим своих хозяев, которые вот-вот должны вернуться и вдохнуть в нее прежнюю жизнь.

Иосиф, глядя на хату, думал, что люди неспроста заколачивают крест-накрест окна своих домов, когда оставляют их... Так они сознательно или подсознательно ставят крест на том, чем жили: над своими радостями и горестями, над смехом и плачем детишек, над всеми произнесенными в доме словами, а во всем этом — человеческий дух. А он такой сложный и одновременно беззащитный, и когда люди уходят из дома, уходит и их дух, а без человеческого духа дом умирает...

Иосифу не хотелось, чтобы умер дом неизвестного ему Антона. Не хотел, чтобы умерла хата, давшая ему, чужаку, пристанище, спасшая его от гибели. Вместе с тем он ничего не мог сделать, чтобы вдохнуть в чужое жилье свое дыхание: чужое и есть чужое.

И свой дом, свою хату, свое жилье, в которое он не смог вдохнуть свой дух, наверное, по этой причине и сжег, хотя не собирался сжигать. Хотел очистить от чужого зла, от чужих грехов, а получилось... Вот тебе подтверждение, что и он не без греха... Понимает это, поэтому так страдает. Хотя иной раз кажется, если бы не страдал, то и не жил бы, не понял бы, что такое жизнь.

А она сложная, пусть и твоя, но принадлежит не только тебе. И как на земле переплетаются стежки-дорожки, корни деревьев, как сливаются реки, так переплетаются и сливаются людские жизни и судьбы.

И вот однажды его судьба переплелась с судьбой какого-то Архипа. Хороший он человек. Но по-своему тоже несчастный. Иосиф это почувствовал. Почувствовал, что несмотря на то, что у Архипа есть сын, внуки, дом, ему чего-то очень не хватает в жизни. Не потому ли он и вышел к Иосифу, когда тот приехал в город? Вышел на свежего человека, с которым, как понял, хочет сблизиться да высказать нечто личное, что дальше не может удерживать в своей душе...

15

...Конечно, если бы Архип был жив, Иосифу не пришлось бы ночевать под стогом. И вообще, Архип, очень хорошо зная город, базар, где у него было много знакомых, помог бы Иосифу найти ту женщину, которая издевалась над Теклюшкой, не найти которую, как считал, не имел права. И, конечно же, стоять нищим возле входа на базар ему не пришлось бы.

За несколько лет жизни в Кошаре Иосиф очень сблизился с Архипом, но все равно не открыл ему своего настоящего имени. Не открыл по той простой причине, что сам свыкся с чужим именем, сжился с ним так, что иногда казалось, его всегда звали Антоном...

И сейчас утром (ночью не заснул не от холода: под стогом было тепло, не заснул от разных, будто не связанных меж собой мыслей, касающихся только самого себя), как начало светать, проговорил: "Пора, Антон..."

Иосиф осторожно выбрался из-под стога, поежился от холодной влажной свежести, опираясь на костыль, с огромным усилием встал на ноги, зашатался, боясь упасть, но удержался. Ноги долго не слушались, были будто ватные, так с ним случалось по утрам, пока не постоит несколько минут, не пошевелит ступнями, не разомнется. Через некоторое время, почувствовав, что может идти, направился к развилке дорог за городом, к шоссе, проходящему возле дороги, ведущей к Кошаре.

Светало все еще по-летнему, хотя лето уже клонилося к осени. И солнце было не желтое, как неделю тому, а красное. Его лучи уже не слепили, как в начале или в середине лета, на солнце можно было смотреть не щурясь. Роса под ногами не искрилась, как раньше, казалась тяжелой, будто из тусклой бронзы.

Он шел по скошенному лугу, на котором уже заметно отросла еще мягкая осока, и его следы напинали следы двух полозьев.

Вскоре луг остался позади, Иосиф поднялся на мост. Отсюда хорошо была видна окраина города. Дойдя до середины моста, остановился, посмотрел туда, где на берегу реки, не так уж и далеко отсюда, стояло Архипово жилище: бани не было. На ее месте чернела груда бревен, а чуть дальше — гора чего-то белого. Наверное, кирпич, решил Иосиф, видимо, Архипов сын собирался возводить какое-то строение.

Хорошо было Иосифу с Архипом. Сколько раз встречались, сколько времени сидели вместе за столиком, а то и на берегу в тени старой ольхи, говорили о городе, людях, о базаре, благодаря которому, как признавался Архип, он и живет, не зная голода, а в душу Иосифу не лез, не расспрашивал о личном.

Только однажды, будто вскользь, сказал:

— Мы с тобой, Антоне, уже давно знакомы. Просишь, чтобы я добыл тебе то, это... Но почему-то ни разу не попросил что-нибудь для детей, внуков для женщины. Ты один, что ли?

— Один, — махнул рукой Иосиф, дескать, привычно мне одиночество, — всю жизнь один.

— Бывает, — рассудительно сказал Архип. — И я один. Хотя, как знать, и дом у меня есть, и внук с внучкой, да сын со снохой.

То, что дом, стоящий на взгорке, Архипов, Иосиф знал еще с первой их встречи.

— А почему тогда в бане живешь? — спросил Иосиф.

— Потому и живу, что не хочу мешать семье сына. Всю войну жил я в своем доме, жил вместе с невесткой и внуками. Был с ней под одной крышей только ради внучат. Сноха моя, скажу тебе по секрету, втихую гуляла с немцами. В подоле не принесла, но... Может, потому и уцелел мой дом, может быть, потому и внуки не голодали. Она работала у немцев. Многие у них работали, иначе не выжили бы, но — только бы работала.

— Может, брехня? — насторожился Иосиф.

— Никакая не брехня! Если говорю — знаю! А сын вернулся с войны, она ему на шею: “Роденький, дорогой, как же я тебя ждала!.. Как же мне одной с детишками было тяжело. Помощи — ни от кого”.

А я, услышав это, словно окаменел, стою, молчу. Он — на меня, да с такими осуждениями, с такой обидой, что хоть сквозь землю провались. “Что же ты, отец, не помогал им?”

Вот так. А я же все, что только мог, отдавал им. Да оберегал малых, чтобы никто на них пальцем не указал: “Ваша мать — такая-сякая...”

Посмотрел я, как он к ней льнет, а меня просто не замечает, и тихо сошел сюда. Думаю, если им хорошо, так мне вдвойне, пусть живут как знают. Одно утешение, что моя старуха ничего этого не видела, умерла в начале войны. А то не знаю, что бы с ней было...

— А внуки? — спросил Иосиф.

— А что внуки? Как проснутся, так и бегут ко мне: “Деда, деда...” Большие уже, маленькой одиннадцать, старшему тринадцать.

— Ну, коли так, крепись, — сказал Иосиф. — Есть внуки, что еще нужно?

— Тем и живу. Стараюсь для них. И очень боюсь, чтобы кто не сболтнул сыну: дескать, живешь с немецкой подстилкой. Тогда семья рассыплется.

— Не скажут. Да и кто об этом знает? Сам говоришь, что втайне было.

— Говорить говорю, а на душе — камень. Так и тянет на дно, иной раз противиться не хочется: топи!..

— Выбрось глупости из головы! — сказал Иосиф. — Может быть, и у меня было немало чего такого, что — в пропасть! А как подумаешь, так нельзя. Нужно прожить то, что предназначено. Надо же кому-то и страдать, не всем же быть счастливыми.

Последнее Иосиф уже говорил не столько Архипу, как себе. Ему хотелось рассказать товарищу, а может быть, и другу, почему он одинок, но что-то сдерживало. Тогда вспоминалась Теклюшка. Казалось, она вновь рядом, бессловесная, бестелесная. А иногда казалось, хочет что-то сказать, но не может... Он уже давно слабо представлял черты ее лица, образ скорее чувствовался, чем виделся, но что это она — ошибки не могло быть.

Однажды, когда в очередной раз говорили об Архипе, его внуках, сыне и снохе, о жене, которую, как было понятно, Архип очень любил, Иосиф не удержался:

— Ты как-то спрашивал, почему не прошу у тебя ничего для детей, внуков, для жены. Нет у меня детей и жены нет. Для той, что была за жену, если бы даже не умерла, ничего не попросил бы — чужая душа. А той, которой все отдал бы, если бы была со мной, — нет. Была такая в молодости, да разошлись наши дорожки. Моя здесь, на этой земле бурьяном зарастает, а ее в коллективизацию потянулась куда-то далеко-далеко...

— Переселенка?

— Да нет, раскулачили. С мужем... И вытравливал я ее из сердца, и выжигал разными мыслями — никак! В молодые годы куда ни гляну — она. Во всем и везде ее ощущал, на все ее глазами смотрел... Это уж потом, со временем, вроде как снежком начало припорошивать... Бывало, займусь чем, отвлекусь от своих мыслей, кажется, забудется ее облик, будто и не было у меня дорогой мне девушки... Но ненадолго: вдруг явится перед глазами ее лицо — всего будто молния обожжет, и снежок тот мгновенно растает... И тогда вновь смотрю на все ее глазами, во всем ее вижу...

— Знакомо, — перебил его Архип, — моя давно умерла, а тоже, глаза закрою...

— И сейчас, какие уже мои годы, к земле гнусь, задумаюсь, вижу ее перед собой, — продолжал Иосиф. — Стоит обиженная, униженная, оскорбленная — я же перед ней так виноват, что и в гробу не успокоюсь... Мне бы ее наяву хоть издали увидеть, а там...

Не договорил, махнул рукой, задумался...

— Ты что, в девичестве обесчестил ее, а потом бросил? — спросил Архип.

Иосиф удивленно, словно не понимая, о чем говорит Архип, посмотрел на него: лицо серое, морщинистое, с неделю не бритое, рыжая щетина подернута седinou, смотрит строго, недоброжелательно.

— Ты что? Да я ее девушкой потерял! Другой с нею потешался... Люди видели.

— Люди, люди, — передразнил его Архип. — А ты?

— А я что? Отвернулся от нее. Больно мне и обидно было, хоть ложись да помирай.

— Больно, обидно... А ты у нее спрашивал, что да как? Может, сплетни?

— Зачем было спрашивать? Какие сплетни? Если бы не хотела, не пошла бы с ним. Значит, хотела... А потом уже, когда венчаться с ним ехала, говорила мне, что со мной хочет быть.

— Ну и дурак же ты, Антон!.. Здесь что-то не так...

— Так, не так, кто сейчас скажет? А если бы и сказал, разве стало бы легче? Она же просила меня, дескать, только слово скажи, с тобой останусь. Говорила, что не люб он ей.

— А ты не сказал того, что и тебе, и ей было нужно. Да-а... Значит, и ей, и себе не поверил. Как ты так мог, если любил? Почему?

— Не сказал... не знаю почему. Может, потому, что от обиды ослеп, от унижения. С того времени и по сей день, как подумую, слепым живу.

— Значит, с большой тяжестью на душе по земле ходишь...

— С большой. Иной раз кажется, что земля подо мной проседает... Но если бы только одна эта тяжесть угнетала меня! Есть еще и иная.

Иосиф смолк, долго молчал. Молчал и Архип. Потом, вздохнув, произнес:

— Не думаю, что ты кого-то убил.

— Перекрестись, Архип! — вздрогнул Иосиф. — Я — нет... — Вновь смолк.

— Тогда больше ничего не говори о себе. Легче будет, — сказал Архип. — А то случается, выговоришься, а на душе еще хуже, разлад с самим собой, не иначе.

— Это точно, — вздохнул Иосиф.

Он так и не сказал ему ни о сыне, ни о Марии. Зачем? Давно нет Марии. Возможно, и Стаса уже нет. Арестовали его, знали, что делал в войну, кто такое простит?

— Знаешь что, — вдруг сказал Архип, — если бы не внуки, ушел бы куда глаза глядят. Бывает, когда посмотрю на сноху, сердце так сожмется, что нет мочи терпеть.

— Уйти-то можно, — сказал Иосиф. — Можно и в мешок завязаться, чтобы ничего не слышать и не видеть, а что с того? Глаза не видят, уши не слышат, а мысли куда спрячешь? Душа, пока жив, не даст покоя, она в теле держится. От себя никуда не спрячешься.

— Выходит, все по себе знаешь...

— Может, и по себе, — неуверенно ответил Иосиф.

Когда начинали разговор, Иосиф, понимая, что Архип ищет у него чувства, что ему очень нелегко, хотел сказать: “Поплыли ко мне. Поживешь, сколько захочешь, а как обида забудется, вернешься домой. Научу не бояться воды, рыбу ловить научу, грибов на зиму засушим, внукам орехов собираешь”. Но не сказал. Не потому, что показал бы Архипу тайные пути к хутору, а потому, что, долго живя вместе, вынужден был бы многое рассказать о себе. Может быть, когда-нибудь и расскажет, в себе все это тяжело носить. Случается, уж очень хочется кому-нибудь открыть свою душу. Но спохватишься: а надо ли? У каждого своя жизнь. У Архипа — тоже. Не хотел, чтобы он в своем горе, пусть даже мысленно прошел по его жизненной дорожке, еще более крутой, чем своя. Ведь Иосиф, в отличие от Архипа, ушел хоть и от близких людей, но от чужих, кровно никак с ним не связанных. Архип, если уйдет, родных оставит. Позор ляжет на сына — отца изгнал, внуков деда лишил. Люди разбираться не будут, да и не надо, чтобы они правду знали.

Понимал, если Архип уйдет, назад не вернется: несправедливую обиду своим простить тяжелее, чем чужим. Обида на своих, словно ржавчина, глубоко въедается в душу, извести ее трудно: не изведешь, махни на себя рукой — пропал человек...

Обижался Иосиф на бывших односельчан, но время от времени будто оттаивал, думая, как они сейчас живут. Ведь не все вернулись с войны, а кто вернулся да не застал в живых родных и близких, остался ли в Гуде? А Надеждин Игнатий? Не дай бог, что с ним случилось, как она двоих детей поднимет?

Да, война давно кончилась, людям нужно жить. Понятно, что уже отстроилась деревня. Может быть, еще не всем поставили дома, но Кате, как и полагается, первой построили. Вдова, ребенка родила. Затем, конечно же, возвели дом и Надежде. Потом — Николаю, Михею, и наверное, в последнюю очередь Ефиму. Тот, какой бы жесткий ни был, а в такой ситуации о себе в последнюю очередь будет думать.

Конечно, если вернулись его Никодим с Иваном, так свой дом должны были ставить немедленно. Мужчины, им нужно обзаводиться семьями. Вот только в Гуде девчат нет, не сами свелись, хотя, наверное, так говорить нельзя, не птичий выводок, а род человеческий, — война свела.

До войны были девчата в Гуде, не столько, как в Забродье, но были. В Забродье хат раза в три больше, чем в Гуде. Идешь вечером по улице, что ни скамейка у дома — на ней невесты. И подневесточки рядом толкуются.

Знал, Ефимовы парни, как и большинство заброденских и гуднянских, на своих девчат не очень заглядывались, к чужим бегали, будто те красивее. А так ли сейчас? Да и сколько парней и девчат там и там?..

И его Стас в соседнюю деревню заглядывал. Обхаживал дочь Кечика. Форсистый, “до носа без фиги не лезь”! Только девушка от него отворачивалась. А в войну исчезла. Ушла с отцом в партизаны. Больше о ней ничего не было слышно, впрочем, у кого Иосиф мог спросить, что с ней случилось? Помнится, в войну пьяный Стас как-то кричал, мол, словит ее, набросит на шею бечевку да, как телушку, приведет в гарнизон, отдаст друзьям на потеху...

Однако не словил...

Часто думал Иосиф и о своем доме. Если бы не сгорел, наверное, односельчане заняли бы его да жили, пока свое строили. Не понадобился дом, а вот лодка его, в этом сомнения нет, пригодилась односельчанам. И зерно, и продукты, которые он оставил в лодке, конечно же, не пропали. И образ... Почему икону им оставил? Он и сейчас не понимает, особо набожных там не было, но оставил. Не хотел с ней лезть в грязную воду? Но тогда еще не знал, что бросится в нее. Помнится, когда подплыл к взгорку, она выскользнула из-под рубахи, и будто кто подсказал: “Отдай им”.

Отдал. Вернее, оставил. А сам, перед тем как лезть в воду, перекрестился — словно кто невидимый водил его рукой.

Вода приняла его. Не замерз. Хотя и было очень холодно, доплыл до бора, выбрался на сухое, стянул с себя тяжелую мокрую одежду, выкрутил, надел, подался выше.

Шел и видел, что среди темного разлива горит его дом. Видел, как ветер бросает огонь в направлении взгорка. В отблесках пожара видел там три человеческие фигурки — метались возле сарая...

Какое-то время стоял и хладнокровно наблюдал, как горит его дом, сарай, навес и, наверное, старый куст сирени. Горело все, что нажил за свою жизнь, больше у него ничего не было.

Иосиф не стал смотреть, пока догорит, пошел дальше, повыше, туда, где начиналась чаща леса. Отсюда не было видно ни взгорка, ни его двора с постройками, охваченных пламенем, — только сполохи в темном небе...

Иосиф постоял несколько минут, подставив ветру руки, чтобы высохли. Затем при тусклом лунном свете наломал елового сушняка, поставил в затишь елашиком, намереваясь развести костер: спички у него были, да и кремь имелся.

Не спеша развязал ремень (перед тем как войти в воду, пережал им сапоги, спрятав в них спички и кремь), вытащил сухие портянки, взял спички и вскоре развел костер.

Пламя быстро охватило сушняк. Еловый лапник и березовые ветки сразу же ярко вспыхивали, освещая все вокруг кострища шага на три-четыре. Нарвал мха, разостлал возле костра на таком расстоянии, чтобы не сильно жгло, затем бросил наверх березняка — чем не постель!..

Конечно, все это — хорошо, но прежде всего надо высушить одежду, тело начинала бить дрожь, сейчас заболеть — пиши пропало... Воткнул в землю две рогатинки, бросил на них перекладину, снял одежду, повесил сушить.

Одежда высохла быстро, нигде не прожег, потрогал: горячая, но надевать можно.

Подбросив в костер сушняка, лег на постель из мха и ветвей и мгновенно уснул...

...Тогда он проснулся, кажется, такой же утренней порой, и всего за несколько часов хорошо выспался возле костра. Но в эту ночь даже на минуту не смог заснуть.

Первое, о чем подумал: а что дальше?.. В город? Вновь на станцию? А что там?..

Хотелось в лес, и чтобы рядом была река. На ее берегу в потаенном месте он сладит себе избенку — топор где-нибудь добудет — и станет там жить: одиночество вдали от людей и будет ему спасением от страданий...

“Есть такое место! — вдруг вспыхнуло в сознании. — Кошара! О ней как-то говорил Ефим. До войны это было, в коллективизацию. Хутор без хозяина... Туда, туда, по берегу реки. Через болота, через ручьи, через топи... За пару дней дойдет. Знает, как пробраться к хутору через гиблые места...”

И сейчас Иосиф спешил на хутор, на котором за эти годы неплохо обжился, спешил в то место, которое давно и надежно спрятало его от людей.

Сегодня ему нужно было спастись и от людей, точнее, от тех воспоминаний, которые вызвали встречи с ними, и от самого себя.

В Кошару он добрался только к вечеру. Когда вышел на шоссе, долго не удавалось остановить попутку, прошло несколько грузовых и пару легковых машин, но ни одна не взяла его. Потеряв надежду, двинулся в путь, прошел несколько километров, прежде чем остановился грузовик, хотя он и не поднимал руки.

Шофер, молодой парень, выйдя из кабины, почти втянул его, уже выбившегося из сил, в машину, довез до нужного места. Иосиф попросил остановиться, парень помог вылезти из кабины, а когда признался, что платить нечем, шофер вдруг вложил ему в руку несколько рублей: “Возьми, дядя, и ни о чем не думай”.

Взял машинально, глухо молвил: “Спасибо за все”. Получилось, будто прохрипел, словно перехватило горло. Повернулся, ткнул под левую руку косяк, не спеша двинулся к болоту. Отошел с десяток шагов, как сзади услышал:

— Подождите, подвезу куда надо!

Остановился, повернулся, посмотрел на шофера: молодой, из-под шапки форсисто, выбивается непослушный овсяный чуб, но смотрит на Иосифа растерянно, — прокашлялся, ответил:

— Спасибо, не надо. Добра тебе и всем, кто у тебя есть. Сам еще смогу дойти. А дорога здесь вскоре кончается, ни пройти ни проехать. Только я ее знаю. Сам проложил. Через болото, через зыбь, через трясины. Дурмана там, багульника много. Для того, кто не знает, — гиблые места.

Почему сказал о багульнике, дурно пьянящем голову, если долго среди него находиться, не знал. А то, что сам через болото к хутору дорожку проложил, — правда. Это когда-то, чтобы сплавить в город к Архипу, к своей долбенке ходил иным путем, проложенным еще хозяином. Ефим подсказал тот путь. Долго ходил, привык к нему. А когда постарел и почувствовал, что уже тяжело плыть против течения, решил проложить дорожку от хутора к шоссе через это, еще более гиблое болото: будет легче добираться в город.

Вспомнил: в лихие времена старики сказывали так: “Чтобы следа твоего дурной глаз не видел, сбей из жердочек две небольшие площадки — тебя удерживать должны. Привяжи одну к другой, неси к трясины. Одну брось в нее, другую держи в руках, ступи на ту, что в болоте. Держит тебя? Тогда брось в трясины другую, стань на нее, а первую вытяти, и — наперед. Так и иди”.

Вроде никакой особой хитрости здесь нет. Но такое “бесхитрое” приспособление спасало местных жителей от чужаков-завоевателей: до нужного часа прятались в непроходимых болотах, а потом, собравшись вместе, шли на непрошенных гостей...

Уже давно ходил Иосиф из хутора к шоссе и обратно, используя площадки. И сейчас, бросая их в болото, чередуя, двигался к хутору. Идти было тяжело. Под конец то ли от багульника, то ли от бессонной ночи и усталости сильно кружилась голова. Еле выбрался на сухое, а выбравшись, не стал прятать площадки (кто сюда зайдет?), побрел к хутору. Придя к избе, упал на землю возле порога в сени, застонал: “Что же это за жизнь такая?! Скорее бы умереть, да чтобы сразу, чтоб не лежать в бессилии, зная, что и воды никто не подаст”.

Долго лежал на земле вверх лицом, смотрел в небо, на солнце. Оно опускалось за лес, было красное, как перед осенними холодами. Независтливый по своей природе, завидовал Архипу, с которым так и не смог проститься.

Завидовал Теклюшке: умерла, не поняв, что умирает. Ему бы так. Но пока нельзя, есть у него еще дело на этом свете, есть!.. Злое оно... А как иначе? Они же издевались над ней, пленили ее...

...А пленили те нелюди Теклю в первый же день, как добралась до города...

За несколько дней до этого, ее, обессиленную, с распухшими, побитыми язвами ногами, случайно подобрала незнакомая женщина. Было это где-то в России, ближе к Беларуси. За год скитаний, пройдя множество дорог, Текля настолько выбилась из сил, что идти дальше уже не могла. Порой у нее было такое состояние, что хотелось лечь где-нибудь в затишье, заснуть и не проснуться...

Однажды вечер застал ее недалеко от деревни, размещавшейся близ какой-то железнодорожной станции. Текля шла вдоль рельсов, держа путь на запад, зная, что ее родная земля там, где садится солнце. Окончательно обессилив, увидев деревню, свернула с пути, вошла в перелесок, упала под куст. Здесь ее и обнаружила какая-то женщина — вела с лужка козу.

Женщина подняла Теклю, поддерживая ее под руку, ничего не спрашивая, привела в свой домишко на окраине деревни. Накормила, потом заставила сбросить с себя тряпье, как маленькую, посадила в корыто, вымыла, смазала какой-то мазью язвы на ногах, одела в чистое белье, уложила на кровать у печи: “Отдохни”. Рядом на лавку положила платье, плюшевый жакет в заплатах, теплый вязаный платок, поставила на пол бурки в бахилах, дала ей маленькую стеклянную банку с мазью, сказала:

— Если идешь — обязательно дойдешь. Этой мазью утром и вечером будешь мазать раны, ее должно хватить, чтобы ноги вылечить. Она из травы

молодила и свиного сала. Если не хватит или раны потом откроются, спроси у людей, когда придешь, растет ли там молодило. Растет — бери свежую, разотри со свиным салом и смазывай раны. Если нет — прикладывай подорожник. Он везде растет, долго искать не надо, нагни, поклонись дороге, она сама тебе на подорожник укажет — зеленые листья прямо из земли идут.

— Знаю подорожник, — сказала Текля, — его у нас много...

Говорила Теклюшка, что в маленьком домике той женщины, лежа на мягкой пуховой подушке, накрытая домотканой постилкой, она впервые со времени высылки почувствовала, что чужое жилье может быть таким теплым и уютным, как свое. Лежала в полузабытьи, видела, как при слабом мерцании свечи изо всех уголков низенькой хатки на нее смотрят изображенные на досках лики святых. Видела, что перед образами на коленях стоит ее спасительница и беззвучно молится на каком-то неизвестном Текле языке.

И вдруг старушка повернулась к ней, спросила, как зовут. Ответила Теклюшка, а дальше слышала, что среди не совсем понятных ей слов (не знала она, что молится женщина на старославянском) услышала трижды и свое имя.

Когда ее спасительница кончила молиться, Текля не удержалась, сказала:

— Вы молились и за меня, но я, наверное, не вашей веры. Я не видела, как вы креститесь, у нас же — со лба на грудь, да справа налево, и тремя пальцами. Может быть, вам нельзя мне помогать...

Но услышала Текля совсем иное:

— Давно я живу на этом свете. Всякое повидала. И людей разной веры видела. Только нет такой веры, если она от Бога, чтобы запрещала помогать человеку. Вера на земле через людей держится, в людях живет, так что какой бы ты веры ни была, держись ее, если пришла к ней. А если еще не пришла, верь в добрых людей и через них найдешь свою веру.

— Скажите, — вновь обратилась к ней Текля, — можно ли верить в людей, когда в ином столько зла, что непонятно, как земля его держит? Как разузнать в человеке веру? По его кресту, по молитве?

— Можно креститься, молиться, а веры не иметь. Вера там, где добро. Добро, по моему разумению, и есть вера. Меня так родители учили. Мы пришли сюда чужими, я была маленькой, ничего не помню. Знаю, какая-то беда нас сюда привела. Говорили родители, что здешние люди нас не оттолкнули, приняли. Какой бы ты ни была веры, это твоя вера... Страдалица ты, и вера тебя спасет.

— Почему страдалица? — спросила Текля.

— Ноги о землю только страдальцы ранят... О чужую землю... Своя-то лечит... По чужой земле идешь... И людей сторонись... Да и говор тебя выдает, не здешний, хоть на здешний похож. Он у тебя мягче...

Открылась тогда Текля той женщине, кто она, откуда путь держит, куда возвращается...

— Хорошо, что после всех страданий не с тяжелым сердцем среди людей пошла, — сказала старушка. — Все мы братья и сестры. Когда супостат пришел на нашу землю, так тот, кто и тебя от твоей земли оторвал, кто стольким людям исковеркал жизнь, кто немало людей погубил, с этими святыми словами ко всем обратился: "Братья и сестры..." Не думаю, что опомнился в грехах своих. Думаю, понял, чем можно объединить людей разной веры, говорящих на разных языках, чтобы встали против антихриста, посягнувшего на род людской...

Больше старуха ей ничего не говорила. И Текля больше ничего не спрашивала. Одно помнила: с добром идешь...

Через несколько дней, почувствовав себя лучше, Текля сказала старухе, что ей надо идти. Старуха не отговаривала, собрала ей в дорогу котомку с едой, достала из-за образов какое-то колечко, завязала в рожек своего платка да отвела Теклю на станцию. Подошла с ней к товарняку, который, как оказалось, направлялся в Беларусь, нашла его начальника, кругленького важного мужичонку. Одет он был в диагональные офицерские брюки, в добротный суконный пиджак, на голове — форменная фуражка, на ногах — блестящие хромовые сапоги. Мужчина подозрительно взглянул на Теклю.

Женщина заметила это, строго посмотрела на него, потом молча отвела в сторону, что-то долго говорила, наконец развязала уголок платка и ткнула в его пухлую руку колечко, которое достала из-за иконы...

А через двое суток товарняк довел Теклю в Беларусь. Здесь, на своей земле, начались Теклины новые страдания... Сошла с поезда, осмотрелась, кажется, не с этой станции везли ее в ссылку. Но по названию — с этой. Вон оно, над дверями в то же низенькое кирпичное здание: “Дубосна” — так ее родную реку зовут...

А дальше городские строения — все кирпичные, красные, в несколько этажей. Раньше здесь стояли обычные деревянные домики с небольшими огородами за заборами из досок, где высокими, в рост человека, а где низенькими, поставленными будто для приличия.

Людей много, много телег, машин легковых, а на путях за станцией — паровозы, вагоны, платформы.

Холод пронзил Теклино сердце: куда податься? Домой нельзя. Сразу же в сельсовет потянут, потребуют документы. А что она им покажет? Вернут в район и вновь — дорога туда, откуда сбежала...

Да и отчего дома, старенькой хатки в тени липняка, наверное, уже давно нет. И родители, наверное, умерли: когда прощались с ними, были уже старенькие, слабые. Находясь в ссылке, связи с ними не имела... И того дома, что Авдей купил в Дубосне, не было. Его забрали, когда раскулачивали. Да и война...

Нет, домой Текле путь заказан. Тогда, если бы кто спросил, почему убежала, на что рассчитывала?..

Убежала, ибо не могла дальше жить на чужбине, да и Авдей избивал до полусмерти. Хотелось на своей земле умереть, а перед тем как лечь в нее, Иосифа увидеть. Зачем? В чужом краю много чего передумала и о себе, и о нем, да и как домой шла — тоже.

Вспомнила, что еще задолго до ссылки в городе жила ее подружка Варька. Вместе гуляли в девичестве. Смелая, отчаянная была девушка. Однажды в городе и осталась, потом там замуж вышла...

Решила пойти к базару, вдруг Варьку увидит, помнила, где ее дом. А что? Будет ходить по улице возле ее двора, выйдет Варька из калитки, увидит Теклю, узнает, поможет. А нет — так нет... Тогда будет видно, что делать дальше...

Походила по базару, еще более людному, чем в те времена, когда в молодости бывала здесь, есть захотелось. Узелок с едой, что дала Текле в дорогу старушка, — полдня не проехали, забрал тот человек, который посадил ее в поезд. Увидел узелок, молча забрал и ушел.

Осмотревшись, стала возле ворот, как нищенка, ожидая, что люди подадут, — много где подаяниями спасалась. Недолго стояла, что-то дали, подошел к ней крепкий чернявый парень, нехорошо посмотрел, спросил:

— Ты кто такая? Кто тебя сюда поставил?

Чуть не обомлела Текля: все, окончилась моя дорога, отыскиали, повезут назад...

Простонала:

— Никто, сама стала.

— Тогда за мной тихо иди, не кричи, а то мигом рот заткну! Откуда будешь? Справка есть?

Не ответила. Шла молча. Никакой справки у нее не было. Слышала, справки дают тем, кто отбыл свой тюремный срок, а дают ли раскулаченным, не знала. Наверное, догадался, что беглая: начало лета, а у нее на ногах бурки в бахилах, одежда хоть и чистая, но в заплатках, и сама еле идет.

Шла рядом с этим крепким парнем, молча умывалась слезами. Не боялась, что будут бить, пусть бьют, стона не услышат, но кто помогал сюда добираться, все равно не скажет. Многие помогали, последняя — старушка, святая женщина. Плакала от обиды: столько прошла, почти до дома добралась, и — назад...

Хотела под какую машину броситься, о грехе самоубийцы не думала. Не бросилась, побоялась, что из-за нее будет страдать шофер, невинный че-

ловек. Его вряд ли посадят, но сам будет терзаться: убил... Если бы через реку вел, тогда она с моста — вниз головой: принимай, родная река-реченька!..

Он и вел ее вниз, на окраину города, туда, где Дубосна, куда ей и надо.

Только не суждено ей было броситься в темные воды, суждено было иное — дальше страдать...

Она попала в руки каких-то злых людей и страдала почти два месяца, пока ее не увидел Иосиф. Они знали, что Текля не будет искать спасения у властей, — беглая. Держали взаперти в каком-то сарае на окраине города, на ночь давали кусок хлеба, утром отправляли на базар просить подаяния, а вечером забирали всё, что подавали ей люди.

Текля всегда стояла на одном и том же месте и, как понимала, нищие возле базара, а это были двое мужчин, также “работают” на тех, кто ее приневолил. Поняла однажды, кто всем управляет. Видела через щель в сарае, как во двор вместе с тем крепким парнем, который ее привел сюда, вошла неизвестная ей дородная женщина лет сорока. Видела, как парень заискивающе посматривал на нее. Слышала, как та сказала: “Спроси, есть ли у нее знакомые в городе, да настрого запрети встречаться с ними”. Поняла, что женщина эта непростая, коль мужчинами управляет...

16

...Это было два года назад. В ту ночь Иосифу снилась вода.

Снилось, что стоит он на берегу, смотрит вдаль, а там — вода соединяется с небом. Значит, перед ним море, которого он никогда не видел, но слышал когда-то от бывалых сельчан, мол, оно бескрайнее...

Вообще-то, вода часто снилась Иосифу. Знал, если снится чистая вода — к добру. Если же грязная — к неприятностям, а то и к беде. Если же прозрачная, да в ручье, в реке, — неожиданная встреча. Так когда-то люди сказывали.

Какая была вода, чистая или грязная, проснувшись, не помнил. Но, кажется, среди этой воды видел Архипа: он бежал туда, где она соединялась с небом.

Откуда он появился, как проскользнул возле него, Иосиф не помнил. Но заметив Архипа, удаляющегося от него, начал кричать, чтобы тот возвращался: знал, Архип боится воды, не умеет плавать. Кричал, звал к себе на берег и не слышал своего голоса.

А Архип все бежал и бежал, и когда был уже почти у самого горизонта, навстречу ему выплыла какая-то фигурка. Издали она была похожа на большую птицу, только вместо крыльев — руки. Разминувшись с Архипом, то ли плыла, то ли летела прямо к Иосифу.

Иосиф уже не видел Архипа, тот скрылся за горизонтом, и, затаив дыхание, следил за приближающейся к нему фигурой... И когда она была уже совсем близко, увидел, что это девушка, молодая, красивая. Ее красота обожгла, но почему-то, как он ни старался, не мог различить черт ее лица — какой-то неуловимый, завораживающий облик...

Иосиф почувствовал себя молодым, сильным, бесстрашным, взмахнул руками, оторвался от земли, полетел над водой рядом с девушкой, хотел спросить: “Кто ты, как тебя зовут?” — кричал, но не слышал своего голоса и... проснулся.

И сразу же его охватило тревожное предчувствие: неужто Архип заболел? Или, не дай бог, что с ним случилось... В последнее время он говорил, что пошаливает сердце.

Иосиф, не дожидаясь, пока рассветет, даже ничего не прихватив с собой, вышел из сеней и направился через болото к затоке возле реки, где прятал челн.

Спешил, но ни разу не отступился, ступая на плахам, спрятанным в болоте, и вскоре был на месте. Отвязал челн от старой ветлы, сел на корму, несколько раз взмахнул веслом, выплыл на середину реки, направился в город.

Светало. Течение несло суденышко вперед. Ловко правя веслом, держал челн на середине реки, время от времени подгребая то слева, то справа: быстрей, быстрей!..

Время тянулось очень медленно, и путь к городу казался как никогда долгим...

Иосиф думал только об одном: что же могло случиться с Архимом, если он так приснился?.. Заболел, может быть, кто-то его обидел, или, не дай бог...

Допустить можно было что угодно, кроме последнего.

Если заболел, то, хоть и живет отдельно от сына, невестки и внуков, придут на помощь. Знал Иосиф, Архим, перейдя жить в баню, с семьей сына не поссорился — решил человек жить отдельно, чтобы никому не мешать, и только.

Вспомнилось, как однажды Архим говорил ему: “Вдруг приплывешь ко мне, когда не договаривались, не застанешь, то не жди, иди на базар. Там меня все знают. Спросишь, где Архипа-торговца найти, укажут. Случается, я там задерживаюсь. А на базар нужно идти по улице возле моего двора (показывал рукой в направлении домика на взгорке) и нигде не сворачивать. Улица сама доведет до базарных ворот. Не заблудишься, если что — спроси у людей”.

Приплыл Иосиф к пригороду, направил челн к берегу, к ольхе. Привязал его, по еще росной тропке заспешил к бане — на двери замок. Раньше замка не было — деревянный кольшечек на пробое. Еле сдержался Иосиф, чтобы не застонать: неужели и отсюда изгнали? У кого спросить, кто ответит?.. Решил идти на базар. Может, сам замок повесил, чтобы посторонние не лазили? Межой поднялся Иосиф к двору Архипа и вдруг застыл на месте: напротив новых высоких ворот из досок — утоптана земля. А от них по улице через шаг — еловый лапник да ошметья увядшей дерезы...

Все, нет Архипа... Нет того единственного человека, который хоть как-то связывал Иосифа с миром людей... Нет того, из чьих уст слышал человеческую речь, благодаря кому не забыл, как люди произносят слова. Нет друга его тяжелой одинокой старости. Как же пусто сейчас на земле... И как горько — Иосиф так и не открыл Архипу своего настоящего имени...

Он не помнил, сколько времени стоял возле ворот, ничего не видя и не слыша. Опомнился, когда взгляд невзначай скользнул дальше по земле, остановившись на раздавленном чьим-то сапогом букетике угасших лилово-розовых материнок. Подняв растоптанный букетик, не стряхивая налипшую на стебельки и цветочки землю, осторожно положил за пазуху, направился к базару. Прошел несколько шагов и услышал:

— Вижу, Архипа искал.

Остановился, увидел, как по улице к нему шел пожилой мужчина.

— Его. А что? — не понял Иосиф.

— Я его сосед, — сказал тот и неожиданно подал руку. Иосиф пожал.

Крепкая.

— Я возле Архипа был, когда он умирал. А мог бы еще жить да жить!..

— А что случилось? — Иосифа бросило в жар: неужели Архим не выдержал всего, что свалилось на него после ухода из своего дома?.. Пытался руки на себя наложить?.. Или... Что значит “мог бы еще жить да жить”?..

— Сам?..

— Да нет, — мужчина удивленно посмотрел на Иосифа, дескать, странный какой-то вопрос. — Парни с девушками на лодке катались. Шутили, девчат пугали, лодку раскатали, она перевернулась. Девчата — в воду, шум подняли: “Тонем!.. Спасите!..”

Архим с внучкой на берегу был, бросился в воду.

— Так он же не умел плавать! — почти закричал Иосиф.

— Не умел, — подтвердил мужчина. — А воды там — по горло. Наверное, парни это знали, держались за лодку, ногами по воде били, смеялись, пока девчата Архипа не вытянули на берег. А на берегу внучка от плача изводилась. Положили Архипа на землю, а он за сердце схватился: “Умираю...” Внучка в крик: “Деда, деда!” Прибежала сноха, в дом Архипа понесли те оболтусы: ишь, когда опомнились!.. Потом кто-то за врачом бросился, а это далеко, за базаром, там поликлиника. Пока туда-сюда, Архим попросил, чтобы меня позвали. Внучка за мной прибежала, я дома был. Побежал, думал,

что же такое Архип хочет мне сказать?.. А он попросил, чтобы я тебя встретил, когда явишься, да сказал, чтобы ты осторожным в городе был. Говорил, что не знаешь ты города, боялся за тебя... Просил, чтобы я держал с тобой связь. Мы с Архипом с малых лет по-соседски жили. Как только его родители откуда-то сюда приехали, так мы — с ним. Особой дружбы у нас не было, но всегда ладили.

— Что-то раньше я тебя с ним не видел, — сказал Иосиф.

— Зато я тебя видел. У вас было свое, у меня свое. Поэтому и не видел. А вообще, я к нему в баньку, где он жил, не хаживал. Здесь я его не поддерживал — зачем было идти из своего дома?

— Ну, этого я не знаю.

— Ты на базар?

— На базар, — ответил Иосиф, хотя базар ему был не нужен. Решил: пойду подальше от этого человека. Хотя и руку подал, но какой-то чужой, не сойдемся с ним, разные мы... И предлагает, мол, заходи, если хочешь...

— Да не хочу!..

И как Архип мог дружить с ним? Они же такие разные. Но, видишь ли, умирая, Архип думал об Иосифе, переживал, как он будет без него в городе...

Иосиф не помнил, как пришел на базар, — улица привела. Была она не очень шумная, обычная улица небольшого города. Время от времени по булыжной мостовой стучали колеса телег, проезжали грузовики, спешили люди... Ноги сами принесли его к базарным воротам, высоким, металлическим, наверху которых полукругом было написано: "КОЛХОЗНЫЙ РЫНОК".

Вошел в ворота и вздрогнул: в двух шагах от него стояла нищенка. Босая, ступни ног распухшие, будто растоптанные лапти. Одетая в лохмотья — такое тряпье хороший хозяин только в собачью конуру бросает. У ног развернутый холщовый мешочек, в нем несколько мелких монет.

Иосиф посмотрел нищенке в лицо, и его словно обожгло: васильковые, неподвластные времени глаза... Кажется, давно забытые, но какие родные... И облик, когда-то самый дорогой на свете, вдруг вспыхнул перед ним, сбросив с обветренного лица глубокие морщины, — ее, молодое, светлое Теклюно лицо...

— Текля! — простонал он и бросился к нищенке.

— Я, я, Иосифка, — слабо пошевелила она пересохшими губами, не удержавшись на ногах, начала медленно оседать на землю.

Он подхватил ее под мышки, удержал, прильнул лицом к плечу, зашептал:

— Сколько же лет я тебя ждал, Теклюшка...

— И я тоже, — простонала она. Затем, словно опомнившись, выдохнула: — Спасай, беглая я...

17

Вечером Иосиф привез Теклю в Кошару...

В то мгновение, когда она произнесла: "Спасай, беглая я...", он вдруг почувствовал вспышку такой силы, какой, кажется, не чувствовал даже в молодые годы.

А Текля, овладев собой, попросила:

— Пошли отсюда. Веди меня под руку. Крепко держи и не оглядывайся.

Иосиф, еще ничего не понимая, крепко держа Теклю под руку, повел ее с базара. Уходя, она даже не взяла мешочек с медью, только тихо повторяла: "Быстрее, быстрее..."

Шли вниз, к реке, туда, где Иосиф оставил свой челн. Текля, ступая по булыжнику, вздрагивала с каждым шагом, будто босая шла по толченому стеклу. Иосиф время от времени поглядывал назад — ничего подозрительного там не замечал: ходят люди, и никому нет дела до них с Теклюшкой. Если она беглая, думал он, то опасаться надо милиции, а милиции здесь не было.

Вскоре, успокоившись, сказал, что надо остановиться, он сбросит сапоги, развернет портянки, обмотает ей ноги.

— Потом, потом, — говорила она, — скорей, скорей...

Так и шли, быстро, как только могли. И через некоторое время миновали Архипову баню, спустились на ярко-зеленый лужок, усыпанный лилово-розовыми цветами матердушек, подошли к челну.

— Скорее! — вдруг почти закричала Текля, показывая рукой на взгорок. Иосиф, не оглядываясь, посадил ее в челн. Сильно дернул старую, наполовину перетертую бечевку, державшую суденышко возле ольхи, бечевка лопнула. Быстро забрался в долбленку, оттолкнулся шестом от берега, и только когда челн подхватило течение, посмотрел туда, куда показывала Текля: на взгорке стоял мужчина, глядел на них.

— Не бойся, это Григорий, — сказал Иосиф, направляя лодку поперек течения к противоположному берегу. — Он дружил с Архипом, моим хорошим знакомым. Архип жил в этой бане, — показал на баню, — недавно умер...

Уже когда заплыли в лес, Текля, чувствуя рядом с Иосифом себя в безопасности, рассказала, как добралась в город, что, пройдя почти полземли, побоялась идти домой, в свою деревню. Мало ли что может случиться...

— Досталось тебе, — сказал он.

— Досталось. Одна бы не выжила. Где шла, там люди и помогали.

— Авдей как? — вдруг спросил он.

— Авдей? — удивилась она. — Авдей там остался. Я убегала не только из ссылки, но и от него. Уходила ночью. По тайге шла, берегом реки. А тайга — это такой лес, в котором редко человека встретишь, чаще — зверя. Только зверя не так боялась, как человека. Зверь что, обойди его стороной — не тронет. А человек если что удумает, да если ему за это деньги посулят, ни перед чем не остановится, не посмотрит, женщина ты или ребенок... Авдей, когда однажды сказала, что уйду, пригрозил: “Из-под земли достану! Живой не оставлю. В тайге ружье далеко метит...” Долго терпела. Но однажды решила: вырвусь отсюда так вырвусь, нет — так нет. И пошла. Не могла дождаться до того, чтобы в чужую землю лечь — своя есть. И не могла умереть, тебя не увидев, не сказав, что напрасно ты от меня отвернулась, — Авдей тогда меня силой взял. Я же тебя, Иосиф, очень любила. Потому и страдания мои. Но скажу тебе, что страдания сами по себе не страшны, любое стерпеть можно. Страшны они, когда от обиды, когда над честью твоей надругаются.

— Я тоже это знаю...

— Бил меня Авдей. Сколько жили, столько и бил. Все упрекал, что тебя любила. Все вспоминал, как я, когда под венец вез, тебя просила, чтобы забрал меня. Не мог простить... И хорошо, что тогда ты не забрал меня, я уже тяжелой была... Все во мне отбил, так и не родила.

— Дурак был, потому не забрал, — глухо сказал Иосиф. — Не отбил бы... А ребеночка вырастили бы, в люди вывели.

— Не твое, чужое.

— Но твое же. Я дитя в обиду не дал бы...

— Может, и так. Только не от любви оно было, но все равно, как ты говоришь, мое... Я же в снопы не сама пошла, Авдей туда затащил. Перед тем каким-то отваром опоил. Знаешь, его мать, моя будущая свекровь, слыла травницей. Она хотела, чтобы он меня взял, — хвалила как работницу. Помнишь, хозяйство у них большое было, я постоянно у них батрачила. Тогда в амбаре упарилась, таская мешки с зерном. Он рядом крутился. Попросила пить, так Авдей и подал кружку с отваром тем. Говорит, на, вышей, хорошо утоляет жажду. Выпила, вскоре в жар бросило, а он и говорит: давай на воздух выйдем. Вышли, вскоре память у меня отшибло, ничего не помню. А как опомнилась — лежу в снопах голая, и бабы на меня пальцами показывают...

— Что же ты не сказала мне об этом? — глухо выдавил Иосиф.

— А ты и не слушал бы. Ты сплетням поверил. Что сейчас об этом говорить? С тобой я, сейчас с тобой. Хоть на час, хоть на два, но с тобой. Сколько с ним жила, столько тебя и вспоминала. Молодая была, глаза закрою — ты... Глаза раскрою — ты... И обида во мне на тебя была такая, что не высказать. И на себя обида: знала же, что Авдей ко мне неравнодушен, а кружку с питвом взяла.

— Откуда ты знала, что там? — пожал плечами Иосиф.

— Не знала, но все равно корю себя до сих пор.

— Ничего, Теклюшка, — вздохнул Иосиф. — Хотя на последок дней, но вместе мы. Сейчас я тебя никому не отдам. Не дай бог что, за тебя на любого руку подниму.

— Сейчас я и сама никому не дамся, — сказала она. — Если надо будет — в омут брошусь. А не успею, сама себя удушю.

— Перекрестись! — сказал Иосиф. — Так даже думать нельзя. Грех.

— Сейчас, конечно, нельзя. А было, руки могла на себя наложить. Родители не давали покоя: “Осрамила перед людьми!..” Но сдерживало, что тогда свою вину перед тобой с собой унесу. Думала, может быть, жизнь так повернется, что когда-нибудь сойдутся наши пути-дорожки, и я все тебе выскажу... И боль свою, и обиду, и правду... Кручинилась, маялась и решила: нет мне иного пути, как за Авдея идти, коль берет...

— Какой же я был дурак! Не тебе, себе не поверил.

— И иное скажу: сейчас, когда ты меня нашел, почувствовала я, что теперь у нас с тобой — один крест... Нелегко мне было с Авдеем. Пусть хоть сейчас легче станет: с тобой я... — Она помолчала и спросила: — Один ты?

— Один, Теклюшка, один. Умерла Мария. Перед войной. И мне с ней нелегко жилось. Матвеевой половинкой она была. Может быть, и ненавидела меня потому, что свою любовь к нему не могла унять. Так что — Бог ей судья... А крест у нас, как ты говоришь, один. Тяжелый он, вместе нести его нам до конца. Вдвоем легче, чем поодиночке.

— Что правда, то правда. Сейчас меня с тобой только смерть разлучит. Всего боюсь, Иосифка, а ее — нет. Но только чтобы не поздняя.

Последнее сказала загадочно, но он понял: боится, вдруг он раньше уйдет, тогда что с ней будет?..

Понял, но сказал об этом:

— Плыдем, а куда — не спрашиваешь.

— Не спрашиваю. Я же с тобой.

— Место одно у меня есть, там никто нас не найдет.

— Дай боже, — сказала она и умолкла, закрыла глаза, осторожно прислонилась спиной к борту челна.

Иосиф, отодвинувшись к корме, снял с тебя старую, потрепанную фуфайку, расстелил на дне суденьшка. Затем достал из-за пазухи раздавленный букетик материнок, отложил в сторону, стащил через голову фланелевую рубашку, сказал:

— Ляг, поспи. Нам еще долго плыть. Я тебя накрою.

Текля заметила букетик, ничего не спрашивая, молча легла на дно челна. Иосиф накрыл ее рубашкой, взял цветы, опустил руку за борт, разжал. Течение подхватило букетик, понесло, туда, где остался город.

— В городе у меня друг был, — сказал Иосиф. — Звали его Архимом. И приснился мне странный сон... Проснулся и понял: с ним что-то случилось. Приплыл в город, а его уже похоронили. Возле его двора я нашел этот букетик. Я поднял цветы, пошел на базар и там тебя встретил... Пусть эти цветы возвращаются туда, где остался мой друг. Я знаю, кто принес ему матердушки, — внуки. Знаю, он очень любил внучку и внука, а они — его...

Говорил он тихо, последние слова уже себе, Текля, как только легла, сразу же и заснула.

Течение распыло букетик, цветы растащило по сторонам, и он, последний раз взглянув на них, подумал: а сон в руку. И об Архиме, и о Теклюшке. Ведь образ, явившийся с горизонта во сне, оттуда, где исчез Архим, — Теклюшка. Иосиф посмотрел на нее. Текля лежала на дне челна на его фуфайке, накрытая его рубашкой. Ее глаза были закрыты, выцветшие ресницы, когда-то темные и длинные, еле заметно вздрагивали...

Иосиф ловко орудовал шестом, стараясь не поднимать шума. Челн скользил возле топляков, валунов, кустов, время от времени попадавших на его пути, и все дальше и дальше уходил от города.

Время от времени поглядывая на сонную Теклюшку, Иосиф думал о том, что и у него, и у нее начинается новая жизнь, их совместная жизнь.

Он не задумывался, сколь долгой она будет, и вообще, долгой ли, в голове пронеслось одно: “Господи, какая же она родная и через столько лет...”

...На следующий день на рассвете Иосиф покинул хутор, и через болото знакомым путем направился к шоссе, проходящему недалеко от его родной деревни. Он спешил, он знал куда идет. В Гуду. К своим односельчанам. Так хотела Теклошка, когда боялась, что одному ему без нее будет неважно, когда просила никогда ни кому не мстить ни за что: “Воздастся им...” Ведь она сама никому не мстила, хотя ее столько обижали в жизни. Сначала — он, как никто жестоко, не поверив ей, потом другие люди... А она вопреки всему верила в них, и эта вера ее спасла, привела на родную землю и хоть на остаток дней, но соединила с ним...

Она всем простила, и прежде всего ему, своему главному обидчику, однажды не поверившему ей...

И он должен верить людям: в Гуде он все расскажет, что было с ним и с Теклей... Расскажет и о тех, кто помогал ей, и о тех, кто пленил ее. Он верил, что люди поймут его и простят. Ведь, есть за что...

*Перевод с белорусского
Ольги НИКОЛЬСКОЙ.*